

Александр
Малиновский
Собрание сочинений



Том первый

12+

Александр Малиновский
Собрание сочинений. Том 1

«Автор»

2008

Малиновский А. С.

Собрание сочинений. Том 1 / А. С. Малиновский — «Автор», 2008

В первые два тома настоящего собрания сочинений известного русского писателя Александра Малиновского вошли произведения, объединённые одним главным героем Александром Ковальским. В них автор показывает русскую жизнь, какой она сложилась во второй половине XX века. Послевоенное село, село и город второй половины прошлого века, индустриализация и химизация народного хозяйства. Взлёты и падения. Перестройка. Всё это нашло своё отражение в двух томах, охватывающих сорок лет (1957-1997 гг.) жизни героев повествования. Писались эти книги в течение десяти лет. Так сложилось это эпическое полотно. Книги 3-го и 4-го тома состоят из повестей, рассказов и стихов, написанных в разные годы.

© Малиновский А. С., 2008

© Автор, 2008

Содержание

От издателя	7
Под открытым небом	9
Книга первая	9
Госпиталь на Молодогвардейской	9
Юрьева гора	11
Кошка Акулина	11
«Эй, Баргузин...»	12
Договор	13
Молодая пряжа	14
Отец приехал	15
Пожар в школе	16
Новая Шуркина жизнь	17
Художественный руководитель	18
«Придёт времечко-то...»	20
Осечка	21
Рождество	24
Поединок	25
Полонез Огинского	26
Поляков из Покровки	29
Пусть поплачет	30
Письмо Жукову	33
Маслянка	34
Картина	36
Речка Утёвочка	36
В дебрях Уссурийского края	38
Изба Горюновых	39
Аксюта Васяева	40
Зимним вечером	41
Королевский суп	44
Ответ от Жукова	44
Жаворонки	45
Транспорт	46
Было море	47
Верочка Рогожинская	49
Чужаки	50
В Лаптаевом переулке	53
«Под синей юбочкой»	55
У Лопушного озера	58
За старицей	60
Два Василия	63
Сухопутный пушкарь	66
У Кунаева ключа	67
Вороняжка	69
Шуркин колодец	70
Ночной разговор	72
Тягомوتина	73

В грозу	74
На пилораме	77
В Ревунах	78
Чивер и голуби	81
В клубе	84
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Александр Малиновский Собрание сочинений. Том 1

*** * ***

От издателя

Александр Малиновский – писатель глубоко народный. И по степени близости его авторских эстетических и этических идеалов к многовековой русской традиции, и по мере адекватности его художественных образов не только народному идеалу, но и народному миропониманию. Более того, ему как писателю представляется заслуживающим внимания главным образом то, в чём проявляется смысл и характер народной жизни.

Даже в глубоко лирическом цикле «Колки мои и перелесья» из частных авторских наблюдений, размышлений и переживаний выстраивается не столько внутренний мир автора, сколько общая картина того мира, в котором автор живет, органичной частью которого он является. Общее в частном – это главный художественный принцип писателя Малиновского. Или – это вообще главное свойство большой литературы.

Точно также и в стихах он наше мироздание не использует как некую первозданную глину для собственного самоутверждения, а всего лишь наполняет новым светом, новыми ощущениями извечной русской красоты и гармонии. И не случайно стихотворения Александра Малиновского столь легко превращаются в песни, не случайно многие эти песни теперь уже живут собственной жизнью. Запоминаем и поём мы лишь то, в чём в наибольшей полноте выражена не авторская индивидуальность, а наша собственная живая душа.

То есть, Малиновский, как поэт и прозаик, являет нам собою именно тот классический тип творца, которого подразумевал А.М. Горький, когда утверждал: «Народ создал Зевса, а Фидий воплотил его во мрамор».

Вот и в «войне и мире» Малиновского, то есть, во всех ключевых событиях и противостояниях второй половины XX века центральной фигурой для Александра Малиновского становится не аналог Наполеона или не менее величественного Александра I, не подобие блистательного князя Болконского или умнейшего Пьера Безухова, а аналог капитана Тушина – самого, пожалуй, внешне неприметного, растворённого в общей людской массе, а в одном из наиболее ответственных моментов мировой истории, в Бородинской битве, вдруг проявившего и народный инстинкт, и народное понимание героизма как простого служения, и народное представление о соотношении каждого человеческого «я» с общим, в том числе и историческим, смыслом жизни.

Такого героя придумать невозможно! Его можно только увидеть в самой жизни и, как в «мраморе», воплотить в литературном образе!

Я, конечно, имею ввиду Александра Ковальского, сначала появившегося у Малиновского словно бы лишь потому, что писателю однажды захотелось поклониться миру своего послевоенного детства, поклониться людям, напавшим его своим теплом, а затем и превратившегося в героя центрального, переходящего из одного повествования в другое.

Сельский паренёк Сашка Ковальский, как и многие его ровесники, становится студентом, затем крупным учёным и организатором производства. Но, подобно, например, знаменитому прозаику, актеру и кинорежиссеру Шукшину или не менее знаменитому академику Петрянову-Соколову, тоже начавшим свой путь из деревни, во всех своих новых ипостасях Ковальский не утрачивает народности своего характера, все его ответы на вызовы стремительно меняющегося времени, будь он уже хоть кем угодно – это ответы умного, рачительного, с развитым чувством ответственности, русского крестьянина (не случайно одними из самых поэтичных и, одновременно, самых узнаваемых у Малиновского получились образы деда и матери Сашки Ковальского!).

Современному типу читателя, привыкшему искать в литературе не правду жизни, а возможность от жизни отвлечься, о жизни хоть ненадолго забыть, Малиновский может показаться несвободным в своих творческих фантазиях. Но в том-то и дело, что неправд

бесконечно много, а правда одна. И художественная достоверность характера Ковальского заключается прежде всего в том, что Малиновский своей фантазией никогда не сможет, даже если очень захочет, сделать Ковальского главой государства (у этого государства была бы иная судьба!), или хотя бы олигархом (в таком случае мы все жили бы побогаче нынешних скандинавов!).

Горечь правды Малиновского – увы, предсказуема. Потому что, я это ещё раз повторю, он ничего не придумывает, он за правдой следует. Как простой пехотинец следует за своим генералом. И, подобно настоящему генералу, он идёт не туда, куда глаза глядят, а на передний край той битвы, от исхода которой зависит наша с вами, уважаемые читатели, будущая жизнь и судьба.

Николай ДОРОШЕНКО,
директор издательства «Российский писатель»,
секретарь правления Союза писателей России

Под открытым небом История одной жизни

Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования? А между тем наши страдания – почка, из которой разовьётся их счастье...

А. И. Герцен

*Спутали нас учёные люди.
Григорий Мелехов (М. Шолохов. «Тихий Дон»)*

Книга первая Под открытым небом

*И, палочкой белой взмахнув на прощанье, ушло моё детство опять.
М. Исаковский*

Госпиталь на Молодогвардейской

Шурка живёт в доме своего деда Ивана Дмитриевича Головачёва давно, с той поры, когда он ещё не ходил в школу.

Его родной отец пропал без вести в войну, а неродной Василий Фёдорович лежит в военном госпитале в Куйбышеве. Вот и получается, что у Шурки как бы два отца.

У Шурки два отца и два дома.

Один дом – бревенчатый с резными наличниками, построенный задолго до войны, после того, как Головачёвы вернулись из Сибири, куда они бежали от голода в Поволжье. В Сибири Шуркин дед шорничал, плотничал, скорняжил – вот и скопил денег. Девятерых детей родила Агриппина Фёдоровна – жена Головачёва, а выжили трое: Екатерина – мать Шурки, Алексей и Серёжа.

Другой Шуркин дом – без потолка, саманный, крытый соломой. Пол не глиняный, а деревянный. Скрипучий, некрашенный, но крепкий. Когда Екатерина его моет, то обязательно скоблит косырём. От этого он становится золотистым, а изба нарядной. В этом доме у Шурки мама, брат и две сестрёнки.

Оба дома стоят в одном ряду на улице Центральной, поросшей травой-муравой.

Последнюю неделю в доме деда разговоры чаще всего связаны с приездом из госпиталя отца Шурки.

Слова «госпиталь», «Молодогвардейская» преследуют Шурку всю сознательную жизнь. От них веет на него мрачной недоброй силой, в которой сошлись воедино скрежет металла, свист пуль, вой снарядов, запах огромного пожарища, поглотившего родного отца, а вот теперь не отпускавшего и неродного.

Госпиталь на Молодогвардейской улице для него казался похожим на пасть огромной раскалённой печи, только прикрытой заслонкой. В ней бушует ещё не усмирённая стихия. В её огненной пасти метались, корёжились, ломались, полыхая, как сухой хворост, судьбы молодогвардейцев, красноармейцев и многих-многих людей в военной и невоенной форме. Чудище, чудище – другого названия этому дому не могло быть.

... В прошлом году Шурка впервые приехал со своей бабкой в госпиталь и удивился увиденному: стоял обычный дом, почти как все, двухэтажный, с большими окнами. Таких в Утёвке нет, но – не страшный и не грозный, а совсем наоборот: приветливый.

Когда их пустили к отцу, он удивился ещё больше. Ему дали, как взрослому, белый халат, который был велик и весь в каких-то ржавых пятнах, но Шурке было не до этого. Поразила чистота и обилие белого. Отец лежал на белой простыне, прикрытый одеялом с белым пододеяльником. У них в доме такого постельного белья не было.

Отец лежал на спине, ровно вытянувшись.

Шевелить он мог только головой и руками. Ноги были в гипсе, а спина – в корсете.

Название болезни – туберкулёз костей – звучало как приговор.

– Садись рядышком, – сказал отец и улыбнулся.

Шурка сел, пожимая протянутую неожиданно белую отцовскую руку.

Он боялся расплакаться. Кто-то из ходячих больных подошёл к нему и надел на голову сделанную из обычной газеты пилотку. Шурка тут же снял её, повертел в руках, к общему одобрению, решительно надел и почувствовал, что комок в горле исчез. Предательские слёзы пропали.

... Когда вышли на улицу, Шурка не сразу оторвался от этого непривычного дома. Напоследок попробовал обойти его, заглянул во двор. И там ничего ужасного. Всё обыденно и спокойно. И улица Молодогвардейская не широкая, а та, которая пересекает её, Ульяновская – совсем неказистая. Когда Шурка свернул на неё, открылась Волга. Внизу, слева, справа ютились в беспорядке небольшие кирпичные и деревянные домики. Беспорядок этот смутил Шурку. Он жил в селе, где избы стояли ровно, как по линейке, не выступая и не западая на зады. Смотрели окнами на улицу. В них жили такие же правильные люди: дедушка, бабушка, мама – сосредоточенные и уравновешенные.

Напоследок он измерил шагами поперёк, напротив госпиталя, улицу Молодогвардейскую. Было сорок шесть его больших шагов.

«Саженой пятнадцать, наверное», – деловито прикинул он. Если бы его спросили, зачем делает измерения, он бы не смог сразу объяснить. То ли готовился к разговору с дедом, то ли к рассказам в школе о своей поездке.

Пока бабушка в коридоре госпиталя «калякала» со своим знакомым с Чёрновки, Шурка измерил и длину госпитального здания. Было шестьдесят шагов. «Наша деревянная школа длиннее», – удовлетворённо подвёл он итог.

Жажда знать и видеть как можно больше подталкивала его постоянно. Это отмечали и взрослые. А он неосознанно впитывал в себя всё, что видел, слышал, словно знал заранее: в его жизни многое из того, что происходило в детстве, будет иметь самое, может быть, главное значение...

Пока Шуркина жизнь текла обыденно. События и переживания случались вроде бы сами по себе, и ложились сразу набело в его сознании. И накрепко...

... На улицу вышла баба Груня и они подались на Кряж, надо было засветло найти попутку до Утёвки.

* * *

Теперь Шурка, прислушиваясь к разговорам взрослых о приезде отца, вспоминает, как долго по бездорожью в снегопад добирались домой, и ему становится боязно за отца. А вдруг у него кости ещё не так крепко срослись, как надо? Тогда опять беда.

Юрьева гора

Замечательная это штука – Юрьева гора. Она начинается на задах, за избой Головачёвых. Гора бывает разной. Если на дворе мороз крепкий, то, политая водой, она превращается в такой ледяной жёлоб, что с ветром в ушах мчишься с неё в сторону стадиона и упираешься в памятник Проживину и Пудовкину – первым утёвским большевикам. Их расстрелял карательный отряд белых. Шурка сидит в классе рядом с Зинкой, дальней родственницей Проживина. Она самая тихая девчонка в классе. Даже как-то удивительно это.

Если много снега, то на горе хорошо играть в городки. Она становится неприятельской крепостью, её надо брать у противника в кулачном бою. Те, кто вверху и кто внизу, попеременно меняются местами. Выигрывает тот, кто дольше всех продержится наверху.

Если с горы съезжать сразу вбок – в огороды, то там уклон крутой и с трамплином. Редко кто может удержаться, на лыжах лучше и не пробовать – гиблое дело. Салазки – совсем иное.

И ещё есть одна особенность у Юрьевой горы. Бабушка Груня Шурке так рассказывала:

– На последнем месяце я уже была, иду себе потихоньку с базара, он был недалеко, около школы, и слышу: шум стоит в Зубаревом переулке, а на Юрьевой горе – какие-то чужие военные. Привели наших бедненьких, все избитые. Не успела понять, что готовится, как затрещали выстрелы. Оба и упали в пыль. Я побежала к себе во двор. Не помню дальше ничего. Когда опомнилась – начались роды, хорошо, что Иван дома был.

Только разродилась, военные к нам: большевиков и сочувствующих ловили. На деда твоего кто-то указал. Он ведь убёг из царской армии под Царицыном, дезертир. Деваться некуда. Едва щеколда хлопнула, Иван – раз под кровать – и притаился.

Не знаю, как у меня сердце не разорвалось. Один молоденький стоял в задней избе, а в передней проверял средних лет солдат. Когда он приподнял подзорник у кровати, под которой лежал Иван, я обмерла. Но солдат этот быстро опустил подзор, развёл руками: «Никого нет», – махнул рукой и они выбежали во двор.

Там, на памятнике, год и число: «21 августа 1918» – это день расстрела Проживина и Пудовкина. Но это ещё и день рождения твоей матери, Шурка.

«Завтра попрошу Зинку показать мне фотографию Проживина. Интересно, какой он? Если они герои, значит про них и про нашу Юрьеву гору и Утёвку когда-нибудь снимут кино», – так думает Шурка и ему становится радостно, как если бы сам был участником героических дел, прославивших его село.

Кошка Акулина

«Ночь была жуткая: выл ветер, дождь барабанил в окна. И вдруг среди грохота бури раздался дикий вопль. То кричала моя сестра. Я спрыгнула с кровати и, накинув большой платок, выскочила в коридор. Когда открыла дверь, мне показалось, что я слышу тихий свист, вроде того, о котором мне рассказывала сестра, а затем что-то звякнуло, словно на землю упал тяжёлый металлический предмет... О, я никогда не забуду её страшного голоса!

– Боже мой, Элен? – кричала она. – Лента! Пёстрая лента!»

Мякнула кошка в сенях за дверью, просясь в дом. Шурка покосился и передёрнул плечами. Жутковато. Ходики показывали час ночи. Он и не заметил, как зачитался записками о Шерлоке Холмсе. Открыв дверь, впустил кису Акулину, недавно взятую его матушкой у дряхлой старухи Акулины Мерлушкиной.

– Шурка, будет колготиться, ложись спать.

Голос матери доносился из передней, и он на цыпочках шмыгнул к двери, ведущей в горницу, подсунул полотенце, прикрыв дверь плотнее, чтобы свет не мешал спящим. Налил

кружку молока, взял горбушку хлеба и вновь уселся за стол, да так, чтобы подальше от тёмного широкого окна, пугающего своей мрачной глубиной.

Глаза побежали по строчке:

«Сестра была без сознания, когда она приблизилась к ней...» Странная возня на шестке отвлекла от чтения. Он поднял голову и увидел неотрывно глядящие прямо на него из темноты жёлтые глаза кошки. Чёрное тело её почти не было видно, оно сливалось с тёмным зевом печки. Такая добродушная днём, а теперь ставшая враждебной печь и два устремлённых беспокойных взгляда пугали его. Правой передней лапой кошка начала царапать по кирпичу.

– Тихо, Акулина, – зашептал Шурка, – маму разбудишь. Я не дочитаю рассказ, а завтра с утра в школу, потом с дедом ехать за соломой.

Он углубился в чтение. Но не тут-то было. Кошка одним прыжком перескочила с шестка на стол и стала драть когтями клеёнку. Шурке показалось, что она приняла снегирей, изображённых на клеёнке, за живых, и рассмеялся.

– Вот дурёха, – сказал голосом, похожим на дедушкин, когда тот разговаривает, запрягая лошадей, – нету у тебя нюха, что ли, ведь не пахнут они мясом. Клеёнкой пахнут.

Кошка спрыгнула со стола, стрелой, с невидящими, дикими, как у пантеры, глазами проскочила мимо Шурки. По отвесной стене взбежала до потолка, там, ухватившись за торчащий крюк, повисла, как обезьянка, и глазами, страшными и большими, стала осматривать комнату сверху.

Шурке стало жутковато. Упруго оттолкнувшись, Акулина прыгнула на пол, сделала два прыжка и оказалась на противоположной стене вновь под потолком. В следующие минуты Шурка уже не успевал фиксировать взглядом стремительное перемещение чёрной молнии с двумя жёлтыми светящимися точками-глазами.

Кошка взбегала не только на отвесную стену, она перемещалась по потолку. Временами падала, вскакивала и вновь, как заведённая дьявольская игрушка, металась по стенам, по потолку...

Шурке стало не по себе. «Взбесилась, – подумал он. – Хорошо, что все спят, а то могла покусать».

Распахнул дверь в сени. Акулина, казалось, только этого и ждала – чёрной лентой скользнула в раскрывшееся тёмное пространство и растворилась в нём...

Шурка, не дочитав книгу, приоткрыл дверь в большую комнату и шмыгнул в свою кровать. Необъяснимое волнение охватило его. Чёрное с жёлтым всё стояло перед глазами, наваливалось, став громадиной, пугало. Но вскоре усталость взяла своё и он заснул.

...А утром пришла на сепаратор Нюра Сисямкина и принесла новость: этой ночью умерла бабка Акулина – бывшая хозяйка кошки. Преставилась, бедная, на девяностом году.

– Вот это да, – только и произнёс Шурка. Он не знал, кому и как рассказать о ночном происшествии.

Стал искать кошку Акулину, но её нигде не было.

«Эй, Баргузин...»

– Бабушка, Баргузин – он кто?

– Как – кто? Ты-то что думаешь? И что это вдруг?

Шурка сидит на пороге, отделяющем горницу от кухни, зажав между колен корзинку из ивовых прутьев. Из неё набирает в кружку ягоды шиповника для чая.

Бабушка Груня чистит карасей – дед утром ходил проверять сети. Замороженные караси ожили и из тазика, стоящего на столе, когда бабушка вынимала очередного, летели водяные брызги.

– Я не вдруг. В воскресенье, когда Веньке Сухову Варьку сватали, дедушка пел про Баргузина.

Шурка помнил тот замечательный день, деда своего, сидящего среди гостей, и песню, которую услышал впервые. Там было новое для него слово: «баргузин». Песня лилась широко, вольно и пел её уверенно и ладно Шуркин дед. Захватывали бескрайность и безбрежность, разлитые в песне: «Славное море священный Байкал...».

«Священный Байкал» – это он сразу отметил. Баргузин представился ему крепким белоzubым загорелым парнем с обнажённым по пояс телом. И обязательно кудрявым.

– Так это ж ветер такой на Байкале.

– Да-а-а?.. – разочарованно протянул Шурка. – Вот дела!.. Бабушка, а про отца моего, – он запнулся, подбирая и обдумывая слова, – про настоящего, поляка, скажи что-нибудь, какой он был?

– Красивый был. Когда на базар с товарищами приходил, все девки на него оглядывались. Волосы светлые, кудрявые и голубые глаза. Смотрел прямо и приветливо.

– А как оказался в Утёвке?

– Кто ж его знает? Война разметала многих по свету, вот и очутился у нас. Ему нравилось имя Саша. Тебя наказал, если будет мальчик, назвать Сашкой.

– Бабушка, а что он говорил, когда его забирали в армию?

– Просил нас с дедом помочь воспитать ребёнка, который родится, Катерина тогда на пятом месяце была. Обещал вернуться.

– И не вернулся? – выдохнул Шурка.

– Время такое. Он поляк – могли не пустить после войны в Россию. Может, грех на него какой положили.

– Но он жив? Так ведь?! – почти выкрикнул Шурка.

– Откуда ты знаешь?

Она помолчала, потом продолжила:

– Раза два, после войны уже, приходили к нам незнакомые люди, выпрашивали о твоей матери Катерине и о Василии. Я помню, как зорко на тебя смотрели, спрашивали, ты ли сын Стаса, и уходили, ничего не сказав. А я вот чувствую своим бабьим сердцем: от него эти люди приходили, узнавали про тебя.

Вздыхнув, задумчиво добавила:

– Может, пожалел и Катерину, и Василия: ведь он уже один раз ломал их жизнь. Станислав и Катерина сошлись, когда она уже замужем была за Василием, только от него ни слуху-ни духу, от Василия-то! А когда Василий вернулся в сорок шестом и тебя усыновил по-хорошему, не поднялась у Стаса рука – не захотел, видимо, мешать. У твоей матери один за одним от Василия родились трое. Как всё поделить? Вот и получилось у тебя два отца. Один ещё живой, а другой – может, и живой, да не знай где.

«Как всё поделить? Как всё поделить?» – стучало в висках у Шурки. Он не заметил, как выпустил из рук корзинку. Она опрокинулась, весь шиповник оказался на полу. Горстями собрав ягоды, поставил корзину на порог. Быстро ушёл в горницу к окошку, чтобы бабушка Груня не увидела заплаканного лица.

Договор

Только Шурка поравнялся с чайной, как вот он, Мишка Лашманкин, с уздечкой в руках. Он из Заколюковки – самой дальней утёвской улицы. И не один – со своим дружкой Каром. Правой рукой Шурка быстренько нащупал в сумке большую белую чернильницу-непроливашку.

Мишка подошёл поближе и вдруг, словно включив некую пружинку, пустился вприсядку около Шурки:

*Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки.*

Кровь ударила в лицо. Шурка рванулся вперед и враз оказался перед непреодолимой преградой. Мишка крутил перед собой уздечку. Она со свистом и металлическим лязгом вращалась перед самым лицом. Кончик ремешка больно хлестнул Шурку по щеке.

– Слабо, да? Слабо?.. Конечно, слабо!

– Тебе слабо самому – один на один, – у Шурки нервно тряслись руки. Он уже ничего не боялся.

– Нужно больно, нам сегодня некогда, давай до следующего раза, согласен? – предложил Кар.

– А Мишка согласен? – спросил Шурка.

– А чего там, конечно, согласен. Договор дороже денег. – Мишка с напускным спокойствием перебирал в руках удила. И, уже удаляясь, совсем как маленькому, а оттого ещё обиднее, скорчил рожу и пропищал:

*Поляк, поляк, с печки бряк —
Растянулся, как червяк!
И не русский, и не немец,
Гутен морген, гутен таг.*

«Семиклассник, а такой дурень», – подумал с досадой Шурка.

Молодая пряжа

*В низенькой светёлке
Огонёк горит.
Молодая пряжа
У окна сидит.*

Ровный и красивый голос деда завораживает Шурку. Сейчас дед сидит в горнице, на облитом солнцем полу на маленьком чурбачке и вяжет сетку, вернее – бредень, закрепив верёвочки за дужку железной кровати.

– Если два выходных ещё повяжу, Шурка, то, глядишь, в апреле отводом поедем рыбачить новым бреднем.

– А как это – отводом?

– Долго рассказывать. Сам увидишь, – отозвался дед Иван и вновь вспомнил о молодой пряже:

*Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса.*

Шуркин дед всегда пел негромко и неторопливо. Как бы для себя, будто вокруг никого нет. Ему не нужны большие компании. Вечный единоличник, никогда не был в колхозе. А зачем ему колхоз: его постоянная должность – конюх. В больнице, в нарсуде, в райсобесе есть лошади, значит нужен и Иван Дмитриевич.

Шурка любил, когда дед пел в дороге, в степи, в лесу... Когда дорога впереди длинная, а вокруг ни души.

В прошлом году на маёвку приезжал Волжский народный хор. Артисты выступали на самодельной сцене около Осинового озера. Там ровная площадка и от неё круто поднимается косогор. Он и служил одной большой трибуной. Вокруг луговая трава, озеро Подстепное – слева, справа – Осинное и Лещевое. Дальше, где синева ложится большим широким пологом с белыми кудряшками на зелёную необозримо широкую ленту леса, прячется Самарка. От неё всегда исходит особый свет.

Когда объявили «Липу вековую», Шурка даже вздрогнул: «Дедова песня!».

Вышел бодрым шагом красивый артист и запел. Это была другая песня. Слова были те же, мелодия почти та же, но – другая. Певец был напорист и резок, будто бы с кем-то спорил, доказывал что-то. А дед никогда этого не делал. Он пел спокойно, ровно, чаще всего под мерный бег лошадей, сидя на телеге или рыдване. От этого песня удобно ложилась в монотонный топот конских копыт. Дорога чаще всего знакома, лошади свои, цель впереди ясна. Тревоги не было. Было уверенное, установившееся приятие всего, что есть в пути и что ещё будет.

Певец кончил петь, все захлопали. Захлопал и Шурка, но негромко. В красивых нарядах танцоров, певцов, в громких восклицаниях и припевках ему показалось что-то неестественное. Он не стал больше слушать. Сел на свой велосипед и, направив его почти по прямой с откоса, вихрем независимо промчался мимо самодельной сцены и большой старой ветлы в сторону Лещевого озера. Там у него стояли пять раколовок. Надо до вечера их проверить и вернуться домой.

Отец приехал

Два последних дня Шурка ждал приезда отца. Баба Груня и деда Ваня отправились за ним на Карем, уложив в сани валенки, старую бекешу и огромный тулуп.

В Самару поехали через Кряж, а обратно планировали – через Кинель, чтобы при необходимости заночевать у лесников: в Мало-Малышевке у Репкова, в Крепости – у Янина, дорога дальняя – под сто километров.

– Всё, Шура, – говорила мать, – начинается у тебя новая жизнь. Ты уж будь умным, соображай, что к чему.

– А что, мам?

– Ну хотя бы жить тебе надо теперь в своём доме, не у деда, а то нехорошо как-то.

– Но деда с бабой на меня обидятся?

– Нет, не обидятся. Можно у них бывать, а ночевать лучше домой, ладно?

– Ладно, – соглашается Шурка, а сам знает, как будет непривычно. У деда всегда интересно: рыбалка, охота, разговоры разные, люди из соседних деревень, чтение вслух книг. Дядья Алексей и Серёга – с ними всегда здорово.

– Я уж и не знаю, к лучшему это или нет, что Василия поехали забирать? Бабка твоя скомандовала: «Хватит – и всё, уморят там мужика. Раз вставать стал – заберём домой, скорее прилепится к жизни».

Мать пристально посмотрела на Шурку:

– Будешь его отцом звать?

– Буду. Я уже звал в госпитале.

Он ждал, как об этом она ему скажет. Вышло не обидно. Это Шурке понравилось. Ему стало радостно за мать: всё чувствует, понимает, только не всегда всё говорит вслух. Он это давно видит. Также заметил, что, в отличие от многих и особенно от его бабушки, старается даже из грустного сделать весёлое. Вот, например, если бы его бабушка и мама в отдельных комнатах рассказывали один и тот же случай, то в той, где бабушка, люди загрустили бы и задумались. А там, где мама, – обязательно бы засмеялись. Такая особенность у Шуркиной мамы.

– Мам, ты когда-нибудь расскажешь, как так получилось?

– Что, сынок?

– Что мы с ним неродные?

– Расскажу, Шура, только немного тудылича, попозже, ладно?

– Ладно, – опять соглашается Шурка.

«Странно, – думал он чуть позже, – мы с ним неродные, а на фотографиях похожи».

* * *

Привезли отца поздно ночью.

– Хорошо, Стёпка Синегубый, его дружок, встретился под Крепостью, а то уже чуть не плутать начали. Пурга такая! – говорила бабушка, помогая деду Ване ввести отца в избу.

С отца сняли в сенях тулуп. При свете коптюшки перед Шуркой стоял невысокий человек, которого до этого Шурка помнил только лежащим на больничной кровати в казённом халате. Сейчас он был одет в бекешу. Костыли под мышками делали его похожим на большую раненую птицу. Левую ногу он волочил.

– Принимай гостечка, хозяйка! – задорно сказал отец.

Мать широко раскрыла дверь, чтоб не мешать костылям, и он, поддерживаемый дедом, вошёл в дом.

– Ну вот, а говорили: волки съедят! Подавятся, верно, Шурка? Шурке стало радостно от таких его слов, от морозного воздуха, от того, что все теперь вместе. Он помогал матери снимать с отца бекешу. Отец, проведя пятернёй по Шуркиной голове, добавил:

– С такими помощниками нас не возьмёшь.

Шурка опять порадовался тому, как отец просто и ясно всё говорит и делает. Под бекешей у него оказались гимнастёрка и галифе. Гимнастёрка задралась на поясе и Шурка увидел гляцевую упругую кожу корсета. «Ещё не сняли? А как же...»

Когда укладывали отца на кровать, чтобы поменять бинты, Шурка заметил гипс на левой ноге, выше колени до ступни. Пока мать с бабушкой занимались бинтами, Шурка с дедом вышли и внук спросил:

– Деда, а как же его такого отпустили?

– Василий настоял: выписывайте – и всё тут! Железный человек, одно слово. Да и бабка Груня твоя чего стоит!

Пожар в школе

Спалось Шурке плохо. Снились какие-то люди в тулупах, лошади.

Под утро случился большой переполох. Часто захлопали калиткой, дверью в задней избе. Шурка, продирая заспанные глаза, встал и пошёл на бабкин голос на кухне. Пол был холодный и он старался наступать одними пятками.

– Шурка, почему носки не надел? Иди скорее назад или коты вон возьми.

– А что случилось, баб?

– Школа горит, мужики помчались тушить.

Бабушка уже растапливала печку. На шестке лежали сухие полешки, а на полу – несколько котяков. В глубине печи горел маленький, как игрушечный, костерок. Пахло морозом, прорывавшимся временами через дверь, керосином и котьяками.

Баба Груня взяла увесистую полешку, покапала на неё из бутылки керосином и ловко швырнула в затухающий костерок – печка обрадованно враз засветилась, загудела одобрительно.

– Кому сказала, чего стоишь? Иди досыпай!

– Значит, в школу сегодня не идти! – обрадованно выскочило у Шурки и он сам удивился этому.

Бабка Груня выпрямилась, взглянула в упор своими чёрными большущими глазами:

– Разве так можно? Это ж беда какая, а?! – И укоризненно покачала головой.

Стало стыдно, и уже не на пятках, а быстро шлёпая всеми ступнями, он засеменил в свой укромный уголок.

... Утром, ступив на школьный двор, Шурка ужаснулся: левого крыла деревянного дома, где находился его класс и мастерская по труду, не было. Была куча хлама, гора каких-то неузнаваемых предметов и горелый запах, от которого щекотало в ноздрях.

Учитель по труду Николай Кузьмич строгим голосом, по-военному, отдавал команды старшеклассникам, которые толпились кто с вилами, кто с лопатой на пепелище.

Всё было и своё, и какое-то чужое, как в кино или во сне.

«Хорошо, что только одна бабка знает, как я обрадовался со сна пожару». Шурка не мог представить, что стало бы, если б все узнали.

... Подошла умная красивая физичка Мария Ильинична и сказала спокойно:

– Ничего, Саша, осилим.

– А где же будем учиться?

– Пока в нашей библиотеке, а с лета директор в Борск хочет ехать с десятиклассниками готовить сосновые брёвна. Поставим новый сруб. Всем работы хватит. Вашему классу – тоже.

– Да, – торопливо согласился Шурка.

Он словно боялся дальнейшего разговора. И, как бы оправдываясь, сказал то, что составляло только часть правды, но было всё-таки правдой:

– Там была моя парта, которую мы с Николаем Кузьмичом отремонтировали. Я её сам красил в этом году. Жалко как!

Новая Шуркина жизнь

С приездом отца жизнь в доме Любаевых потекла по-особому. Ничего, казалось, не ускользало от отцовских глаз. Как он всё быстро замечал и успевал! Дня через три после приезда утром спросил Шурку:

– У нас во дворе есть глина?

– Не знаю, пап, – растерялся Шурка.

– Вот те раз, голова, кто же знает?

– Есть, Василий, за нужником, летось привозили, теперь под снегом, – вмешалась мать.

– Надо наковырять в тазик и навозу из мазанки принести.

– Хорошо, Вася, – мать догадалась, для чего. – Наверно, тряпки какие нужны?

– Нужны.

После завтрака Шурка расчистил снег, поработал ломом и принёс два ведра мёрзлой глины. Мать залила её горячей водой. Пока глина отходила, отец, не дожидаясь, начал забивать тряпками трещину в стене у печки, через которую дул морозный ветер. Он делал всё, стоя. Садиться или наклоняться было нельзя, поэтому тряпки Шурка положил на приступок у печки, откуда их отец и брал. Руками работал очень ловко. Но каждый раз, когда отец выпускал оба

костыля и стоял на одной, которая покрепче, правой ногой, прислонившись плечом к стене, Шурка боялся, что он упадёт. Так и случилось. Отец опрокинулся на рукомошник, висевший в углу, и вместе с ним с грохотом повалился на пол.

– Боже мой, Василий!

Катерина бросилась к мужу. Он тяжело, опираясь на костыль, встал. Мать с Шуркой повели его к кровати. Ложился он медленно, осторожно устраивал негнушующуюся в корсете спину.

Мать подняла левую ногу отца и, как чужую, не его, положила рядом с правой.

– Ну, вот, отдыхай, мы с Шуркой доделаем.

– Да вот и беда, что вы, а не я, – досадовал отец.

... Через две недели гипс сняли, а ещё через месяц Шуркин отец освободился и от корсета. Пугающе красивый, из толстой тёмно-коричневой кожи, схваченный вдоль и поперёк светлыми металлическими полосками, лежал он теперь в сених без надобности.

– Катя, убери его, к лешему, подальше, – сказал Василий. – За целый год он мне опротивел.

– Уберу, – с готовностью и радостно сказала мать. – Сейчас, Васенька, поедим, и я выкину.

После завтрака отец взялся ремонтировать костыли. Снял резиновые наконечники и в каждый костыль для верной опоры вбил по толстому гвоздю без шляпки, пояснив:

– Так надежней, мне ведь не прогулки совершать с костылями. Работать надо, значит, держава, крепость нужна особая.

Теперь, когда он встал и пошёл по комнате, от гвоздей оставались отметины в жёлтом полу, маленькие, как конопушки.

... А вечером приехал старый друг детства отца, Стёпка Сонюшкин, Синегубый – так его звали оттого, что всё лицо и губы у него от контузии на фронте были в синих точках. Он привёз две седелки, уздечки и просил за недельку подремонтировать. Обещая ставить за это трудовни.

– Знаю я твои трудовни, Степан, ещё до войны. Ты мне лошадь, когда надо, дашь?

– Дам, конечно, дам, – говорил Степан, глядя плохо видящими от ожогов глазами, тускло и покорно. – А ты сделай. У меня ещё хомутишко один есть потрёпанный, возьмёшь?

– А потник-то есть?

– А как же! – с готовностью ответил дядька Степан. – Есть, неважнецкий, правда, но есть.

Когда ушёл Синегубый, отец сказал:

– Шурка, а знаешь, я ведь ловко так валенки до войны подшивал. Если взяться за это дело, не пропадём, точно говорю.

Мать радостно слушала эти разговоры и украдкой вздыхала.

Художественный руководитель

Перед уроком истории классная руководительница Лидия Петровна объявила:

– Александр Ковальский, я тебя освобождаю по просьбе Валентины Яковлевны от уроков. Ты ей нужен в постановке.

Шурка встал и под завистливые взгляды одноклассников вышел.

Ничего не поделаешь, Шурка – артист.

По дороге в клуб он вспомнил, как впервые появилась Валентина Яковлевна в школе два года назад.

... В тот день вначале ему не везло. На перемене у туалета к нему привязался Толик Юнгов и они подрались. Так, не зло. Как бы проверяя друг друга, обменялись тумачами. Но Шурка поскользнулся и припал на одно колено, прямо в грязную лужу. Зазвенел звонок и Толик убежал, а он остался очищать грязную штанину. Когда вошёл в класс, хмурый учитель

географии Василий Иванович Норкин уставил в него, не мигая, свои карие, под навесом чёрных больших бровей, глаза:

– Опять дрался? Оттого и опоздал?

– Нет, – ответил Шурка, веря, что они с Юнговым и не дрались. Так себе... И опоздал он не из-за драки, просто случайность – поскользнулся и попал в лужу.

– Лгать нельзя, – обидно, как маленькому, сказал учитель географии, – я всё видел в окно. В наказание будешь стоять, пока не скажешь правду.

– Где? – с горечью выскочило у Шурки. «Неужели поставят в угол?» – подумал он.

– А вот, где находишься сейчас, там и стой.

«Если видел всё, то чего ему от меня надо? Должен понять, что всё случилось случайно».

Шурка остался у двери. Незаметно продвигаясь, оказался у подоконника. Стал смотреть на улицу. Правая рука, вернее, указательный её палец ковырял потихоньку извёстку у оконного проёма.

Было обидно и неинтересно. Из окна сквозило, Шурка два раза шмыгнул носом.

– Ты что, герой, плачешь? Так знай, коммунисты не плачут! В классе хихикнули.

– Не смей! – грозно выкрикнул Норкин. – Не смей смеяться!

«Если я что-нибудь скажу сейчас такого, то все рассмеются и нас потащат в учительскую, надо молчать», – подумал Шурка и повернулся к стене лицом.

Разрядило ситуацию удивительное событие. Открылась дверь за спиной Шурки, вошли Лидия Петровна и незнакомая женщина. Классная руководительница извинилась перед Норкиным и представила незнакомку:

– Ребята, сегодня у нас в гостях Валентина Яковлевна Плотникова – художественный руководитель районного Дома культуры. Пожалуйста, мы вас просим, – она, как конферансье, развела руками.

Шурка смотрел с удивлением на гостью. Он её узнал, видел несколько раз, но так близко – никогда. У доски стояла осанистая, крепкая женщина в светлом костюме, ярко-красной кофте с большим отложным воротником.

Шурке эта необычная женщина давно запомнилась, хотя она даже, наверное, и не знала о его существовании.

– Ребята, кто хочет стать настоящим артистом, а? – с ходу спросила она.

В классе воцарилась гробовая тишина. Всех, очевидно, сразила внешность этой женщины. Тряхнув крупной головой с короткими чёрными кудрявыми волосами, сказала совсем непривычное в устах взрослых в классе:

– Слабо? Да?

– А что нужно уметь? – спросила находчивая Ниночка Иванова.

– Желательно всё, – опять энергично ответила гостья. – Но для начала надо просто записаться и в пятницу после занятий придти для просмотра. Мне нужны артисты в драмколлектив, танцоры в ансамбль, хористы. Наш хор – народный. Мы уже записались на пластинку в Москве, приходите слушать.

Она пристально посмотрела на притихших ребят.

– Талант рождается в детстве, а может, конечно, и раньше, понятно?

Она свободно и заразительно засмеялась. Так в школе никто не смеялся.

– А я, как бабка-повитуха, помогу, как могу, если будете слушаться. Не теряйте момента!

– Вот у нас готовый артист есть, Валентина Яковлевна, – вдруг сказал учитель Норкин, присевший на первом ряду за парту. Он показал жирным коротким пальцем на Шурку.

– А ты чего в углу? – удивилась Плотникова.

– У стенки, – поправил Шурка.

– Петь любишь?

– Не знаю. Не очень.

– А что любишь?

– Кино!

Все засмеялись.

– Приходи, попробуем в постановках. На роль Ваньки Жукова тебя попробую. Как твоя фамилия?

– Ковальский.

– А имя?

– Александр.

– Александр Ковальский! – воскликнула она, подняв левую руку над головой. – Неплохо звучит для сцены.

...Шурка пришёл в ту пятницу в клуб и с тех пор уже не представлял себя без завораживающего общения с этой удивительной женщиной, без того волнения, которое теперь всегда испытывал при виде сцены.

«Придёт времечко-то...»

– Смотрю на тебя, Шурка, и думаю: какое же это перемещение народов всяких должно было быть, Вторая мировая война случиться, чтобы твой отец – песчинка в море – оказался здесь, в Утёвке, и встретился с твоей матерью. И чтобы ты родился. Чудеса да и только. Как будто кому-то это надо?

Бабушка Груня сидит перед открытым большим сундуком. Крышка его изнутри оклеена кусками картины Репина «Бурлаки на Волге». Третий слева в толпе бурлак, высокий и в шляпе, очень похож на Большака, который приходит часто к Головачёвым в гости. Только у Большака нет трубки.

Шурка, продолжая разглядывать картину, просит:

– Баб, расскажи что-нибудь ещё об отце.

– О каком, Василии?

– Нет, – глуховато отзывается Шурка.

Бабушка вынимает наконец-то нужный ей клубок пряжи. Не поднимая головы, не торопясь, отвечает:

– Мать пусть расскажет.

Шуркина мать сидит у окна, там посветлее. Сучит пряжу.

– Что тебе рассказать? – вздыхает она.

Потом ловко поправляет веретено, струны вытягиваются, прялка оживает.

– Я расскажу, чтобы ты наперёд знал. Когда твой отец Станислав пропал, перестал писать, я взяла тебя, совсем ещё крошечного, и пошла погадать в Смоляновку к одному старичку.

– Он колдун был? – Шурка сомневается, что мать верит в колдовство.

– Колдун не колдун, а людям много кой-чего угадывал. Забыла, звать как его, эвакуированный. Он появился, как лётная школа у нас стала в селе. Издалека откуда-то.

– Лётная школа?! – Шурка удивлён.

– Да, в ней учили летать молодых ребят. Её тоже откуда-то эвакуировали, где бои были. Некоторые при учёбе-то и погибли, лежат у нас на кладбище.

– А нам в школе не говорили... – Шурка озадачен.

– Мало ли чего вам не говорят!

– Ладно, мам, а что дальше?

– А что дальше? Заходим в избёнку. Ты у меня на руках. На кровати сидит весь белый, как лунь, старик, слепой. В руках бобы. Так перебирает их без остановки и говорит с ходу: «Гадать пришла?» – «Да, – говорю, – погадать про его вот отца, пропал, писем нет» – «А ведь

ты, дочка, не на того собираешься гадать». – «Как так, – говорю, – не на того?». Помолчал он, помолчал, руками поиграл в бобы и продолжил: «Придёт, вернётся к тебе твой первый муж, которого не ждёшь. Жив он, но далеко». – «Василий? – ахнула я. – Как же так, от него ведь четыре года с фронта не было писем. Я вышла за другого – поляка» – «Не было, а вот придёт. И родишь от него много детей. Жить будете долго вместе и согласно. Судьбе не противься». – «А как же его отец?» – спрашиваю про тебя, Шурка. «И второй твой муж объявится, но только, когда тебе будет не надо, в старости. Придёт времечко-то, да».

Шурка стоит у голландки, прислонившись к горячему железу, чувствуя жгучий рубец у себя на спине, и чуть не плачет. Хочется расспросить подробности, но боится не справиться с голосом. Наконец решается:

– Мам, а первый сын от Василия, что с ним получилось?

– Умер, – односложно ответила мать. – Грудного мы его ещё не уберегли, простудили.

Он был Шурка и тебя я потом назвала Шуркой – ты брат ему.

– А дальше что?

– А что дальше? – переспросила бабушка. И сама же ответила: – Пришёл в сорок шестом Василий, весь израненный, был в плену долго. Заходит в калитку, а ему уже кто-то сказал, пока шёл дорогой, что твоя мать от другого родила, а его-то сына нет в живых. Остановился в калитке-то, когда Катерина с тобой на руках вышла и встала на крыльце. Метнулась я на зады со двора, чтобы не видеть всего этого. Хорошо, что и деда не было. А вернулась когда, они сидят за столом и потихоньку так разговаривают, и ты при них. Она Василия-то молоком поит.

– Ни в какую я не хотела сызнава всё начинать. Но он упрямый всегда был, сладу нет. Все вещи заставил собрать и повёл меня за руку к себе домой, к свекрови, где мы до войны жили. – Мать Шурки, остановив рукой колесо прялки, стала смотреть в окно.

Шурка заметил на глазах у неё слёзы.

– Всё сошлось, что говорил слепой старик. Теперь вот, чует моё сердце: и отец твой может вернуться когда-нибудь. Придёт времечко-то... Так он ведь сказал, старик-то. – Бабка посмотрела своими жгучими чёрными глазами на притихшую Катерину и совсем спокойно добавила: – А ты не хлюпай носом. Живи, покуда солнышко светит. – И продолжила: – В последнем письме твой польский отец просил прислать фотокарточку новорождённого. Очень хотел, чтобы ты был на ней голеньким, чтобы всего было видно. Катерина так и сделала. Письмо получил перед освобождением своего родного города Варшавы. Сообщал, что бои страшные и его двое товарищей, которые с ним вместе прибыли из России, погибли. Писал, что, когда получил фотографию, несколько раз останавливался на дороге и смотрел на тебя, не мог поверить, привыкнуть, что он – отец. «Где мой сын – там и моя родина», – так заканчивалось его последнее письмо. Верил, что вернётся к тебе, поэтому мы фамилию не стали тебе менять, хотя Василий несколько раз об этом заговаривал.

Осечка

У Мазилина, который живёт около чайной на Центральной улице, есть страсть, о которой все знают и которая дала ему эту вторую, уличную, фамилию. Он любит ружья и охоту, а вернее, любит быть, присутствовать там, где охота и где пахнет палёным пыжом. Стрелять хорошо не умеет, но врёт о своей меткости отменно. Сегодня охотники на задах стреляли в калитку огорода: пробовали одностволку Веньки Сухова. Мазилин так «раздухарился», что заявил, будто на лету однажды сбил сразу трёх витютней.

– Они стаями и не летают, – сказал веско Венька. – Уймись.

– Что уймись, что уймись, я настоящую правду говорю! Их ветром в стаю сбило над жнивьём в Ревунах.

– Ага, – продолжал Веня, – иду полем – ни одного деревца и вдруг – волки. Я – раз, не мешкая, на огромный дуб, да? – Так Веня вспомнил кусочек рассказа Мазилина о своих подвигах.

Эту историю все уже знают, поэтому и засмеялись.

– Ты зря надсмеаешься, я натренировался на той неделе с ружьём-то, могу аккурат пальнуть как надо!

– Можешь? – переспросил Веня и озорно посмотрел на всех.

– Могу, – подтвердил Саня. И для надёжности добавил: – Я, это, гагарок влёт бил, когда у брата на Севере был, а летось в Одеяле дудака завалил.

– Говоришь, гагарок стрелял? А на лемурув в тропиках не охотился? – поинтересовался Веня.

– Чегой-то? – переспросил Мазилин.

– Давай так, – весело сказал Сухов, – на тебе моё ружьё. На, на!

Мазилин неуверенно взял одностволку.

Веня окинул взглядом ровную, заснеженную порошей дорогу вдоль ограды и начал отмеривать крупными шагами расстояние. Единственная его правая рука чётко работала под строевой шаг.

– Вот, ровно тридцать метров. Так?

– Ты что задумал, Веня? – спросил Шуркин дед.

– Так, Саня? – вновь спросил Сухов.

– Ну, так, так, – беспокойно ответил Мазилин.

– Слушай условия дуэли. Стреляешь мне в задницу. Если хотя бы одной дробиной попадёшь – ружьё твоё!

– А если нет?! – крикнул подошедший Стёпка Синегубый. И его испещрённое мелкими тёмно-синими точками лицо, освещённое обычно тусклым светом потерявших остроту после контузии глаз, неожиданно преобразилось. Он вдруг стал таким же весёлым, как Венька. Это удивило Шурку.

– А если не попадёт, тогда посмотрим, что с ним делать.

Венька, широко и плавно разводя руками, театрально изобразил реверанс. Повернулся спиной к толпе и, задрвав фуфайку, наклонился, почти доставая рукой снег:

– Давай, Лександр! Не бойсь! Пали!

«Может, ружьё не заряжено?», – почему-то обрадованно подумал Шурка, глядя на крепкие Венькины галифе.

– Венька, убери казённую часть, не дури, – сказал, похохатывая, дед Шурки.

– А если я попаду? – подал голос сам Мазилин. – Глазунья ведь получится, а? Аховый ты мужик, Веня!

– Да не тяни, там бекасинник в патроне. Я устал буквой «Г» стоять. Ты знаешь, где курок?

Шурка смотрел на Мазилина и лихорадочно искал выход из казавшейся ему тупиковой ситуации. «Венька, ясно, не струсит, будет ждать выстрела, а Мазилин в тупике – надо стрелять, на него все смотрят и ждут. А вдруг сдуру да попадёт?»

Но уже в следующий момент заметил, что неуверенные движения Мазилина получают какую-то твёрдость. Тот перебросил одностволку с правой руки на левую, как какой-то краснокожий индеец, взметнул её над головой и издал негромкий, но дикий и непонятный воинственный клич:

– И-и-и-ха-ха-у-у!

Все оторопели. Никто такой выходки не ждал. В следующий миг лицо и вся фигура Мазилина обрели уверенное спокойствие и деловитость, что вновь всех изумило.

Он потоптался на месте, делая себе площадку в снегу, и медленно стал поднимать ружьё. Теперь уже он не обращал никакого внимания на присутствующих. Видно было, что действовал осознанно и по плану.

Мазилин начал основательно целиться. Но враз опустил ружьё:

– Венька, постой ещё чуток, передохну. Знаешь, руки дрожат после вчерашнего: солому возили, ну и немножко того, для сугреву приняли. Теперь вот вместо опохмелки ты попался.

– Эх, ты, колбаса! – совсем, как пацан, обозвал Синегубый Мазилина. – Трусишь?

Но Мазилина голыми руками не возьмёшь. Он быстро отозвался:

– Коли колбасе приставить крылья, лучшей бы птицы не было.

Умел Мазилин вот так: не вдруг под гору, а с поноровочкой. Шурка потихоньку начал понимать, что хозяином положения становится Мазилин, а не Венька. «Неужели Мазилин опять всех перехитрил? – думал Шурка, глядя на Сухова. – Так уж не раз бывало, ведь он – известный пройдоха».

У соседки Пупчихи закричала коза, потом у самого плетня под навесом смешно начал кашлять баран.

– Вот ведь чёртова скотина... правда, Вень? Я её терпеть не могу, потому и не держу. А ты, Вень?

– Стрельнёшь или нет? – подталкивал настойчиво Сухов.

– Стрельну, конечно, стрельну, погоду чуток-то.

Мазилин поднял ружьё и с непонятно отчего радостным лицом, почти не целясь, нажал курок. Прозвучал сухой щелчок, выстрела не последовало.

– Осечка, – сказал бодро Мазилин. – Не судьба, значитца!

– Чего городишь, дай мне, – Венька принял ружьё и, ловко пальцами одной руки скользнув по цевью и ложе, переломил одностволку. Лицо его вытянулось в изумлении:

– Ну, ты даёшь, ловкач!

Он внимательно посмотрел на стрелявшего. Тот развёл руками:

– Ловкость рук и никакого мошенства.

Сухов одобрительно, что было совсем непонятно Шурке, хмыкнул и, шутя, боднул Мазилина головой. Тот громко хохотнул и объявил:

– Господа хорошие, спектакля сегодня больше не будет.

Потихоньку все разошлись.

Шурка вынул перочинный ножичек с двумя лезвиями и начал выковыривать дробины из деревянной калитки. Некоторые засели глубоко. Старые трухлявые доски внутри оказались крепкими, а дробь, расплющившись, трудно поддавалась тонкому лезвию. Мерзли руки, хотя и было солнечно. Снег искрился, как будто тысячи серебряных мелких дробинок кто-то рассыпал по чьей-то непонятной прихоти.

– Зачем тебе это? – спросил Сухов.

– Да на грузило к удочкам, на лето.

– Приходи, дам свинца, раздобыл недавно.

– Ладно, приду.

Веня Сухов – ловкий, стройный и добрый, уже уходил, и Шурка поинтересовался:

– А как Мазилин придумал фокус с осечкой?

– Да не было осечки. Пока он нас потешал, успел потихоньку патрон из ствола вытряхнуть и валенком в снег втоптать. Находчивый, чёрт!

– Эх, вот это да! – только и сказал Шурка.

На душе было празднично. Стояла ещё только первая половина зимнего солнечного дня. Почти целый день впереди. Рядом были дед, бабушка, все свои. Веня... Такие все разные. И даже пройдошистый Мазилин воспринимался как что-то чудное, но такое, без чего вроде бы и жизнь не совсем та, какая может быть.

Рождество

В сенях зашумели, затопали чьи-то торопливые валенки, дверь распахнулась и в избу ввалились трое ребят: Толик Беспёрстов, Димка Таганин и Мусай Резяпов.

Едва переступив порог, ещё не закрыв как следует заиндевевшую дверь, нестройно, но громко и, главное, решительно запели молитву:

*Рождество Твоё, Христе Боже наш,
возсия миру свет разума,
в нём бо звёздам служащи звездою учаеся,
Тебе кланяются, Солнцу правды,
и Тебе ведети с высоты востока,
Господи, слава Тебе!*

Молитву Шурка знал давно, много раз славил, когда был поменьше. И теперь, лёжа в кровати, ревностно и радостно слушал пение.

Слова молитвы местами непонятны, но жила в них, исходила от них какая-то неизъяснимая благодать. Неясные созвучия были знакомы, на слуху и поэтому, может быть, несли в душу не осознанную до конца радость и веру в жизнь.

Так наступило утро седьмого января, праздника Рождества Христова.

Когда ребята смолкли, братишка Петя вскочил на кровати, переступил, балансируя, через Шурку и в трусах, босиком пошлёпал к порогу, издавая какие-то невнятные звуки.

Мать Шурки раздавала припасённые заранее конфеты-подушечки:

– Слава Богу! Слава Богу!

Когда славильщики ушли, Петя, стоя на одной ноге, поджав другую от холода, заскочившего через только что с шумом закрывшуюся дверь, закричал горестно:

– Опять ты, мамка, опоздала меня разбудить. Уже ходят! Беспёрстов меня обогнал.

– Не торопись ты, темень ещё на дворе. Они самые первые. Посмотри в окно, – отвечала мать.

Шурка, споткнувшись о тыкву, выкатившуюся из-под кровати, подошёл к окну. Отодвинул занавеску. Палисадник, широкая улица – всё завалено сугробами. Ночью шёл сильный снег. Несколько стаек ребят, по двое, по трое пробивались, увязая по колени, к подворьям.

– Зачем тебе, Петь, в такую рань-то?

– Дак я должен был ещё зайти к Перовым, за Ванькой!

– Петь, да ты в своём уме? – всплеснула руками мать. – Он ведь на самом краю села живёт, пусть за тобой забегает. Хватит колдыбашить-то.

– Нет, – упрямится Петя, – он чуть не каждый день за мной заходит, когда в школу идёт.

– Но ему же по пути.

– Я ему обещал вчера, честное слово дал, – говорит Петька, натягивая на босу ногу валенок. – Мы решили в этом году славить в Золотом конце, – приводит он свой последний и веский довод.

– Петро, не выкобенивайся, – как взрослому, говорит вошедший со двора отец, – надень носки, без них не пойдёшь.

Петька послушно идёт искать пропавшие носки. Приподняв подзорник, лезет под кровать.

– Мать, никак меж славильщиков и татарчонок Мусай был? – спрашивает Василий.

– Был, а что?

– Ну, как, что...

– Да ладно тебе, радостный праздник для всех же, а для ребятни – тем более. Знаешь, какой у него голос? Красивый! Чудо!

Одевшись, Петька быстренько, пока про него забыли, прошмыгнул к двери и пропал в сенях.

– Ну, а ты, Шурка, что же не с ними? – спрашивает отец.

– Большой стал, в шестом классе, стесняется, – ответила за него мать.

Она отставила ухват к двери, обернулась к ним. И Шурка поразился, какая у них мать молодая и красивая! Чёрные, как смоль, волосы и карие глаза, смуглость лица и живость движений делали её сгустком энергии и заразительной веселости.

Он хотел было возразить маме, но не успел, она, улыбаясь, сказала:

– Знаете, как мы бывалыча девчонками с Надей Чураевой пели на Рождество! Нас все любили. А колядовали как! Наши колядки всем так нравились! Самый мой отрадный праздник был Рождество Христово. И все дни до самого Крещенья! Была бы помоложе, убежала с ними, с этими ребятами, ей-богу!

Поединок

По Зубареву переулку в розвальнях на буланой кобылке промчался Мишка. Снежная пыль клубилась за возком. Мишка не умел ездить медленно.

«На общий двор погнался, – отметил про себя Шурка. – Ну, хорошо, посмотрим, кто слабак!» Нырнул в сельницу и вышел оттуда с уздечкой. «Будем биться на равных, по справедливости».

Мишку встретил у стадиона, когда тот уже возвращался домой. Странно, но противник не испугался и не удивился:

– Ждёшь? – спросил он и встал метрах в двух от Шурки, застёгивая на все пуговицы старенькую бекешку.

– Жду, – подтвердил Шурка, подвигаясь к неприятелю.

– Знал, что ты когда-нибудь меня подкараулишь, но я тренировался и...

– И я – тоже, – перебил Шурка и так ловко стал крутить уздечкой круги над головой, перед собой, слева и справа от себя, что Мишка невольно попятился.

– Тебя кто-то учил из взрослых! – выкрикнул он, невольно озираясь: то ли готовился занять хорошее местечко на дороге, то ли оробев.

– Сам! Тебе сейчас придётся попрыгать, а то пятки отшибу, понял? Не будешь больше кобениться.

– Да ладно, отшибу... Сам получишь по сусалам. Вот послушай.

И пропел жидким, ужасно мерзким голосом:

*Шурка-пупурка. Турецкий барабан.
Как заиграет на пузе таракан!*

Он ничего, оказывается не боялся, этот узкоплечий, веснучатый и дерзкий Мишка Лашманкин.

– Стишки твои глупые, для первоклашек.

– А у тебя какие есть? – спросил Мишка.

Стихов у Шурки таких не было. И это его немножко озадачило. Он задумался. И потерял инициативу. А противник не дремал, кочетом бросился на Шурку и, обхватив со спины его же уздечкой, стянул её впереди, захлестнув концы.

– Ах, ты так?.. – запоздало спохватился Шурка и резко метнулся в левый бок, быстро сообразив, что в падении может освободить из плена руки. Так и оказалось. Противник не

ожидал при всей своей коварности такого манёвра и они повалились на дорогу. Изловчившись, нырком выскочил Шурка из-под неприятеля и оказался вмиг верхом на нём. Мишка извивался под седоком, а тот, не помня себя, схватил горсть грязного дорожного снега и стал размазывать по потному лицу противника.

– Ах, ты так, так, ты так... – взвился Мишка.

Но Шурка его не слышал. Он уже ничего не сознавал...

И вдруг прозвучал властный голос:

– Отставить! По стойке «смирно» становись!

У обочины, опершись на костыль, в жёлтой фуфайке стоял Шуркин отец. Руки под военной командой ослабили вмиг. Противники поднялись.

И тут последовала новая команда, которая вновь заставила их подчиниться:

– По разным сторонам дороги разойдись! По домам «шагом марш»!

Дома, весело глядя на Шурку, отец сказал:

– Молодец, такого крепкого парня свалил. Это хорошо. Но кто же лежачего бьёт? Несправедливо. Так нельзя.

– Да я... – Шурка хотел объяснить, что они разом повалились.

Но отец опередил:

– А грязью зачем ты ему лицо мазал?

– Я не помнил, что делал, совсем...

– Ну, брат, – отец покачал головой. – Драться надо уметь так, чтобы не терять над собой власть. Иначе до беды недалеко. И ещё надо знать, за что дерёшься.

Он внимательно посмотрел на Шурку:

– Причина для драки была серьёзная?

– Была, – потупившись, ответил Шурка.

– Ну, раз была, то всё нормально. Веселей гляди. Бери вёдра, пошли скотину поить.

Через несколько минут вёдра весело загремели в руках Шурки. А чуть позже призывно на калде замычала Жданка.

Полонез Огинского

Шурка давно уже знал, что дядя Гриша Кочетков в войну работал в утёвской сапожной мастерской с его польским отцом.

На прошлой неделе он, как взрослый, подошёл к Кочетку прямо на улице, когда тот проходил мимо их двора, спросил:

– Дядя Гриша, расскажи что-нибудь про моего польского отца.

Тот не удивился просьбе, как будто давно об этом уже говорили.

– Приходи завтра днём.

...Едва Шурка щёлкнул щеколдой, залаяла собака. Вышел хозяин. Подойдя ближе, положил легонько руку на плечо Шурки и они, как старые знакомые, пошли в дом.

Оставив Шурку, хозяин скрылся в сенях. Вышел оттуда, держа в руках мандолину и потрёпанную ученическую тетрадь.

– Дядя Гриша, у вас фотографии отца есть?

– Одна групповая была, да жалко, запропастилась куда-то. Шурка понурил голову.

– Ладно, не грусти. В Куйбышеве у меня друг живёт, он на той фотокарточке стоял около твоего отца, может, у него сохранилась...

Полистав тетрадку, нашёл нужную страницу, помятую и исписанную карандашом.

– Вот:

Когда пролётных птиц несутся вереницы

*От зимних бурь и вьюг и стонут в вышине,
Не осуждай их, друг! Весной вернуться птицы
Знакомым им путём к желанной стороне.
Но, слыши голос их печальный, вспомни друга!
Едва надежда вновь блеснёт моей судьбе,
На крыльях радости помчусь я быстро с юга
Опять на север – вновь к тебе!*

– Знаешь, кто написал? – спросил Кочеток.

– Нет. Может, Пушкин?

– Пушкин, только польский – Адам Мицкевич, вот! Один раз, в войну, у твоей матери был день рождения. Ну, мы собрались... Даже пиво было.

Отец твой прочитал это стихотворение по-польски, пересказал по-русски. Назвал автора – Адам Мицкевич. Мы признались, что не знаем такого. Он тогда очень расстроился и даже, кажется, обиделся на нас. Говорил по-русски плохо, а тут совсем смутился, когда объяснял нам, что у них Мицкевич, как у нас – Пушкин. Его каждый поляк знает. Мицкевич и Пушкин, видишь ли, навроде друзей были меж собой. Я это стихотворение о перелётных птицах запомнил хорошо. Потом дочь моя, учительница в Куйбышеве, нашла книжку Мицкевича, переписала и прислала.

– Дядя Гриша, мой отец – шляхтич?

– Кто тебе такую глупость сказал?

– Да меня дураки наши в школе контрой зовут, когда разозлить хотят.

– Послушай, он отличные женские туфли шил и меня научил. Может контра сапоги да башмаки шить, а? Он красивый был. Среднего роста, смуглый, кудрявый, а глаза голубые. Хорошо танцевал, и девчат наших учил. Польку, мазурку, кадрили... Всё умел. Ходил в толстовке коричневого цвета. У тебя вот глаза зелёные, у матери твоей – карие. Ты, значит, посерединке у них. Шляхтич не шляхтич, но немецкий и французский знал, это верно. Уважительный, вежливый был, но за своё стоял. Когда я ему сказал, что вот освободят Польшу от немцев, организуют у них колхозы и будет страна, как наша, стал мне говорить, что у них никогда колхозов не будет. Колхозы им не нужны. Так его и не убедил. А с матерью твоей я его познакомил у Чураевых на вечёрках. Не сразу они сошлись. Хоть и четыре года твоя мать не получала писем от первого мужа, а всё равно – жена законная. Мы все были уверены, что Василия нет в живых. А тут ещё Минька Леток раненый вернулся, сказал, что видел Василия Фёдоровича вроде бы на Карельском фронте, на Финской ещё, попавшим под такой обстрел, что все погибли. Такая вот история с Любаевым получилась. Как тут разобраться?

Он взял мандолину, как маленького ребёнка, погладил ладонью, вытряхнул из отверстия посередине большой зуб от сломанной расчёски и тронул струны.

Полилась удивительно красивая, грустная, незнакомая мелодия. Мандолина – это маленькое существо, даже не гитара, незаметное и невнушительное, хранила в себе и издавала такие звуки, которые могли существовать только где-то на просторе, в поле, между небом и землёй. Как песня жаворонка под открытым небом. В вышине, в огромном свободном пространстве, вечном и манящем...

Дядя Гриша кончил играть, Шурка не сразу пришёл в себя. – Подарок тебе – любимая музыка твоего отца, полонез Огинского. Он любил его напевать, ну я и подобрал на мандолине. Ему очень нравилось, часто просил сыграть. Говорил, что эта музыка – бессмертная. На все века! Бери мандолину, она – твоя.

– Как так? – опешил Шурка.

– Я её подарил твоему отцу – Стасу. Но, когда его срочно забирали на фронт, он забыл её взять впопыхах. Она у нас потом долго в сапожной мастерской висела – на память.

– А где была сапожная мастерская?

– В промкомбинате, напротив школы. Во время войны, в начале, его собрали из чернолесья. Потом твой дед с бригадой работал в Борске, заготавливали сосновые брёвна. Я тоже с ними, плотами пригнали в Утёвку, сделали пристрой. В нём овчины готовили. Шили для фронта полушубки из них.

– Плотами в Утёвку по Самарке?! – удивился Шурка.

– Ну, да!

Шурка погладил осторожно, как живое существо, мандолину и протянул Григорию.

– Нет, спасибо. Можно, она будет у вас? Я буду приходить, слушать, как вы играете?

– Смотрю вот на тебя и удивляюсь – так похож на отца, может, не внешностью, а характером больше. Он тоже, когда возражал, говорил очень мягко, как бы просил. Совестьливый был.

– А кто такой Огинский? Шляхтич?

– Дался тебе этот шляхтич. Композитор, поляк. Мне о нём Стас рассказывал, он много всего знал и любил рассказывать. Но я всё уже перезабыл. По-моему, граф был, а звали Михаилом или Николаем. Такое русское имя... да вот.

– А в чём мой отец провинился, дядя Гриш?

– Точно не знаю. Тут их несколько человек было по селам. Сельсоветские наши частенько спрашивали о нём. Не спускали глаз.

– А как забрали на фронт? – допытывался Шурка.

– Просто. Польскую часть формировали и его призвали, кажется, в Рязань, вроде бы в дивизию Костюшко.

– А русских любил?

– Кто? – не понял дядька Гриша.

– Отец мой.

– О чём разговор! Мы были все приятелями. Песни наши любил. Послушай, мы с ним часто её пели:

*Среди долины ровныя
На гладкой высоте
Цветёт, растёт высокий дуб
В могучей красоте.
Высокий дуб, развесистый,
Один у всех в глазах;
Один, один, бедняжечка,
Как рекрут на часах.*

В избу вошла Наташа Лучезарная – жена Григория. Тут же подседа рядышком и стала подпевать.

Не зря утёвский народ такое прозвище ей дал. От неё веяло жаром, как от протопленной печки, какие-то тёплые иголки выскакивали из её весёлых улыбчивых глаз и покалывали всех, кто был рядом. Грустная песня оставалась грустной, но всё превратилось в некую забаву, и грусть стала как бы понарошку, временной.

Она обняла Григория за шею сзади одной рукой, наклонилась, белая кофточка на груди расстегнулась на две пуговички и два бронзовых полновесных слитка заиграли перед лицом Шурки, в такт движениям их шаловливой хозяйки то прячась, то выглядывая и целясь прямо в Шурку тёмными пухлыми сосками. Ему стало не по себе. Смутное, необычное волнение нашло на него.

А песня лилась в два голоса:

*Взойдёт ли красно солнышко —
Кого под тень принять?
Ударит ли погодушка —
Кто будет защищать?*

Вдруг Лучезарная всплеснула лёгкими и ласковыми руками: – Гришенька, песне-то этой конца нет, а у меня баня протопилась, голубок, давно.

– Наташа, ну, обожди, допою парню ещё один куплет. Когда ещё так посидим?

Наташа ушла в сенцы и дядя Гриша озорно подмигнул:

– Вишь, моя полячка какая нетерпеливая!

– Разве ж она – полячка? – откликнулся Шурка.

– Это я к слову. Похожа на полячку, верно?

И, не дожидаясь ответа, вновь запел:

*Возьмите же всё золото,
Все почести назад:
Мне родину, мне милую,
Мне милой дайте взгляд.*

Он замолк.

– Вот такие дела. Тосковал твой отец о своей прежней жизни. Это видно было. Не мог здесь прижиться. Другой был, не как мы.

– А как кто?

– Не знаю. В мастерскую сапожную приходил в светлой рубахе с галстуком. Так вот.

Григорий встал, отнёс в сени мандолину. Оттуда выпорхнула Лучезарная с тазиком в руках и в полушалке:

– Гриш, ну ты и копуха, собирайся, а то я одна уйду.

Поляков из Покровки

Шурка, подперев левой рукой подбородок, сидит у деда в горнице за столом. Рисует самолётики, фигуры разные на обратной стороне обрезков обоев. Скучно. Должен был прийти Андрей, но его всё нет. Книжка «Одиссея капитана Блада» прочитана, больше ничего нет. Все взрослые на базаре, сегодня – воскресенье. Он рассеянно смотрит на стену перед собой, упирается взглядом в картину с цветами и непонятым названием «Пионы» и ему делается ещё скучнее. Потом берёт попавший под руку жёлтый карандаш и перед непонятым словом ставит большую, но не жирную (чтобы бабушка не заругала) букву «Ш». Вслух произносит: «Шпионы». Становится как-то понятнее, но какая связь между цветами и этим словом, никак не улавливает, и опять ему становится скучно. Зачёркивает буквы «и» и «ы», получается: «шпон». Скучно. Зачёркивает букву «ш», восстанавливает «и» и вместо «ы» дописывает «ер», становится веселее: «пионер». Когда же убирает «п» и «ер» и дописывает «ыч», совсем хорошо: «Ионьч». Вернувшись к слову «шпон», убирает букву «ш» и в конце добавляет «т». Вот теперь, когда надпись под цветами становится свалкой букв, как у деда на верстаке, где завитушки золотистых сосновых стружек кудрявятся и шевелятся, как живые, ему становится интересней.

Взгляд падает на ружьё, висящее (а скорее, лежащее) под потолком на двух больших гвоздях. Оно не заряжено. Мысли сами собой почему-то начинают вращаться вокруг вопроса: «Если все говорят, что ружьё и незаряженное один раз стреляет, то когда это случится? Завтра, через год, два, десять? Нет, интересно всё-таки, ведь не зря говорят? Стрельнуть должно ружьё».

В сенях послышалось, как кто-то обметает валенки веником от снега. Шурка радостно бросился встречать деда с бабкой. Но ошибся. В избу шагнул с мороза высокий человек и весело сказал:

– Здорово, брат!

– Здравсьте, – неуверенно отозвался Шурка, а про себя подумал: «Вот и брательник у меня объявился».

– Один, что ли?

– Один.

– Все на базаре?

– Нет, дядя Лёша на охоту ушёл.

– Эх, мать честная, я ведь к нему. Охотничий билет продлить надо и заплатить взносы.

Он, не спрашивая разрешения и не снимая валенки, прошёл и по-хозяйски уверенно сел на табуретку около печки. Расстегнул шубняк. Это Шурке не очень понравилось.

Гость пристально посмотрел на Шурку и спросил, глядя в упор своими диковатыми глазами из-под рыжих бровей:

– Ты Катькин сын, что ли, будешь, так?

– Ну, так.

– Полячок, значит, – то ли спросил, то ли ответил себе, довольный.

Шурка промолчал.

На это молчание гость отреагировал странно. Он хлопнул себя ладонями с растопыренными пальцами с обеих сторон по ляжкам и с каким-то только ему понятным восторгом подтвердил: «Полячок!». Затем встал и направился к выходу. За ним потянулись следы от мокрых, оттаявших в избе валенок.

– Ждать некогда, да и не дождёшься быстро с охоты. Ты вот что, скажи ему, был, мол, Поляков Михаил, на базар приезжал с Покровки, в следующее воскресенье утром снова будем – пусть подождёт. Ладно? Без билета нельзя. И привет большой ему от Полякова, вместе служили.

– Ладно, – неопределённо отвечает Шурка.

Ему вдруг стало казаться, что этот уверенный сильный человек смеялся над ним, дразнил. Специально придумал фамилию – Поляков. Он намекает, что отец Шурки и сам Шурка немножко не такие, а как бы с порчей какой.

– Что такой задумчивый, рона¹ большой? Веселись, пока время твоё!

Неожиданный знакомый хлопнул ладонью по косяку, резко открыл дверь и вышел.

«Вдруг он всё-таки смеялся надо мной? Фамилию назвал такую. Как же я скажу, кто к нам приходил, – пытается разобраться Шурка. – Если говорить, то надо называть эту фамилию. Вдруг дядья смеяться будут? Ведь это похоже на розыгрыш. Или нет?»

Пусть поплачет

– Ты что такой смурной сегодня? – встретила Шурку вопросом бабушка.

– Я видел сегодня: мама украдкой плакала.

– Не замай, пусть поплачет. Полегчает.

– Как же так? – Шурка недоуменно смотрел на бабушку. – Надо что-то сделать!

– А вот иди ко мне за стол, посиди, а я расскажу. Тебе пора, видать, понимать.

Шурка сел в угол на лавку, как раз под иконой, напротив бабки, чтобы видеть огонек в печи и не мешать ей работать ухватом и сковородником.

Бабушка отставила в сторону ухват:

¹ Рона – будто, словно

– Не сердчай ни на кого из нас и не обижайся, ладно?

– Ладно, – сказал Шурка почти машинально и ему стало не по себе. Получалось с этим его «ладно», что он здесь главнее всех и может свысока позволить кому-то какую-то вольность. Он опустил глаза в стол.

– Третьего дня Кочеток, когда тебя не было, принёс две фотографии твоего отца Станислава. Сказал, что в Зуевке нашёл у знакомого – для тебя старался. Вроде бы обещал. Ну, мы с матерью, от греха подальше, вставили их в портрет у вас в передней, но только с обратной стороны, чтоб не видно. А сегодня утром Василий случайно их увидел. Не стал слушать Катерину, порвал и выкинул. Не знал, что Кочеток тебе их принёс. Думал, хранит ото всех. Мать в слёзы, говорит ему: надо, чтобы ты в лицо отца знал, а он вскипел весь: «Раз мы договорились, что отцом ему буду я, значит точка. Не морочьте парню и мне голову». Он – кремень, и раньше был очень горячий и твёрдый. Его не переубедишь. И по-своему ведь прав, понимаешь, голова садовая?

Шурка молчал. Он всех любил. Василий, которого звал отцом и хотел, чтобы он был отцом, удивлял его своим характером. Поражали поступки и манера говорить: коротко и односложно. Но зато какая сила и уверенность были во всём, что он делал. Всё воспринималось как маленькая часть чего-то огромного, правильного, настоящего, что только и имеет право на жизнь. Шурке иногда казалось, что его отец Василий связан, это порой ощущалось физически, с некоей огромной умной силой, с которой тот встретился и обручился то ли на войне, то ли в плену, то ли ещё где.

Она его отметила, и теперь он с этой отметиной живёт.

«Почему он порвал фотографии отца? – недоумевал Шурка. – Ведь это же не измена, мне просто надо знать, что и как было. И какой был отец Станислав. Неужели отец Василий не понимает?» Досада угнетала Шурку ещё и потому, что напрямую ему он об этом не мог сказать.

– Ну, вот, совсем я тебя расстроила, – бабушка старалась быть весёлой, – не горюнься. Ты ещё не вырос, может, и не надо бы мне говорить тебе, но ты об этом думаешь. Тогда пойми: он порвал карточки только потому, что Катерину ревнует, вот и всё. А к тебе очень хорошо относится. Я знаю, Катерина отдала своей какой-то подруге сберечь последние письма Станислава из-под Варшавы – перед её освобождением. Три или четыре...

– Но мама плачет...

– Плачет потому, что всех вас жалеет: и тебя, и Василия, и Станислава. Вот ведь война что наделала. А мне вас всех жалко.

Она обняла внука за плечи:

– Ты правильно пойми. Когда перестали приходить письма с фронта, мать начала кое-что пытаться у разных людей узнавать. И один разок зашёл к нам Мишка-милиционер и мне одной сказал, чтобы забыли о твоём отце и не искали – может это бедой обернуться для нас всех. Так и сказал. Он был поляк, а к ним строго относились. Вырастешь, сам разберёшься, а пока побереги себя и нас.

«Где и кто мой отец? – горестно думал Шурка. – Приехал бы, забрал меня в свою Варшаву – всем было бы легче. Но как же мои дед, мама, бабушка, Самарка, Карий... Как я без них? Нет, не надо меня никуда забирать».

– Иди, позови на завтрак деда, он у погребницы сети разбирает, – она легко подтолкнула его, – будем лапшатник с молоком есть.

Шурка направился к двери и вдруг у порога, обернувшись, сказал совсем неожиданное для себя, вернее, то, о чём много думал, но вовсе не собирался сейчас спрашивать, да и вообще вряд ли решился бы когда:

– Баб, я кто?

– Не поняла я? – бабушка внимательно, так, как только она умела, посмотрела сразу на всего Шурку, отчего Шурке некуда было спрятаться. Стало не по себе: то ли от того, что

спросил, или потому, что вот бабушка сейчас ответит и её слова могут создать непреодолимую преграду между ним и всеми, кого он так любит.

– Ты меня о чём спрашиваешь?

Шурке уж некуда было деваться и он уточнил:

– Баб, я кто? Русский или кто?

– А, вот ты о чём.

И спокойно сказала:

– А сам ответь себе... Раз мы все вокруг тебя русские, мама твоя русская, то кто ты? А?

Шурка не ответил, пнув ногой дверь, выскочил во двор. Сходу попав в окружение Цыгана и Верного, цыкнул по-хозяйски на них и побежал к погребнице, где всегда пахло рыбой, мокрыми сетками и где Шуркин дедушка мог внезапно сказать что-то вроде такого: «А что, внук, не махнуть ли нам с тобой за зайцами, а заодно и сетки проверим в Подстепном, а?».

Когда садились за стол, пришла мать, а чуть позже – дядя Алексей.

Шурка любил, когда за столом много людей. Это у него, наверное, от бабушки, у которой, все знали, была слабость: зазвать в дом и чем-нибудь попотчевать. Она любила летом сказать: «Ну, что, мужики, на вольном воздухе будем обедать, под открытым небом?». И все сразу соглашались, и Шурка первым брал стулья и шёл к старой ранетке. Следом взрослые несли стол.

Под скрипучей ранеткой Шурка особенно любил есть окрошку. Баба Груня делала её из своего кваса, нащипывая туда сушёную крепко соленую густеру или сапу. Было остро и очень вкусно.

...Только вчера зарезали барана. Тушка его сейчас висела в сенях на большом крюке, а гольё – приготовленная к дублению шкура – в мазанке.

Баба Груня сварила щи.

Ели из общей высокой глиняной миски, поставленной на середину стола. Щи были наваристые и горячие. Ели молча и сосредоточенно. Жирные капли щей, падая из Шуркиной деревянной ложки на клеёнку, тут же застывали маленькими восковыми кругляшками. Шурка щёлкал по ним пальцем и они легко отлетали на пол.

– Шурк, чать не маленький, – спокойно сказал дед, – прекрати!

Шурка быстро наелся щей и стал ждать лапшатник. Он положил свою ложку на край миски, уперев её черенком в стол. Ложка держалась, это его забавляло.

– Убери, – сказал дед.

– Она так интересно стоит.

Но дед сразил все доводы сразу и под корень:

– Чего ж интересного? Как собака через забор заглядывает, того и гляди гавкнет. Неприятно.

Шурка молча убрал ложку.

Бабушка долила щей, все продолжали работать ложками, не трогая мяса.

– Таскайте, – как обычно, будто между прочим, сказал дед. Это была команда вылавливать куски мяса. Не было скаредности. Во всём необходим порядок, и эту негласную установку все уважали.

Шурка краем глаза смотрел на мать. Она была спокойна, ни малейшего признака того, что утром плакала. Он знал, и так было уже не раз, если она сейчас что-нибудь скажет весёлое, все, включая и дедушку, засмеются (мать так умеет говорить), и эта сдержанность за столом и сосредоточенность не от какого-то недопонимания или горя, а от уважения к еде, к хлебу, ко всему тому, что даётся нелегко и не вдруг.

«А я ещё со своими вопросами высказываю, – думал Шурка, – всем и без них несладко».

Письмо Жукову

– Пойми ты, голова садовая: твоя пенсия и пенсия инвалида войны – разные вещи.

Это говорил красивый дядька в чёрном кителе с двумя орденами и медалями на груди.

Когда Шурка пришёл из школы, отец и его новый знакомый сидели в избе и разговаривали. Перед ними стояла наполовину опорожненная бутылка водки, что сильно удивило Шурку.

Гость действительно был необычный: большая кудрявая голова его, цепкие колючие глаза и уверенный тон – всё говорило о том, что человек у них непростой.

Шурке незнакомец сразу понравился. Он потихоньку прошмыгнул мимо к подоконнику, где обычно делал уроки. Мать сидела рядом, разбирала шерсть.

– Мам, кто это?

– Зуев, дядя Костя.

– А кто он такой?

– На фронте майором был, а теперь инвалид, безногий.

– Как? – оторопел Шурка.

Ему не поверилось: такой сильный, уверенный, говорит громко, бодро, заразительно.

– У него обеих ног нету, – сказала мать, – мы ему с Василием помогли забраться за стол – выше колен обрубки.

– А как он к нам попал?

– Узнал, что Василий на все руки мастер, приехал на своей трехколяске какие-то тяги ремонтировать.

– А где ж она, трехколяска?

– Да за сениями стоит, разве не видел?

– Василий, ты в райсобесе объяснял свои дела или нет? – говорил в это время бывший майор.

– А что я буду объяснять? Или так не видно? Разберутся. Получим и мы своё.

– Жди! Хрен да маленько, вот что получишь. Я их знаю, тыловых крыс, сталкивался не раз.

Он стукнул кулаком так, что его медали и ордена звякнули звонко и убедительно.

– У тебя когда раны открылись? – он направил на Шуркиного отца указательный палец, похожий на дуло пистолета.

– Примерно через полгода.

– Вот теперь слушай, мать твоя – кочерыжка... Значит, если в течение года после демобилизации у участника войны возникает инвалидность, то он считается инвалидом войны. Пенсия-то у тебя должна быть раза в два больше. Так жить нельзя. Я пробью ваших районных крыс! А ты делай мне мой тарантас, договорились?

Он широким жестом разлил по стаканам водку.

– Давай, рядовой Василий Любаев, грохнем за наши победы. Чёрт бы всех побрал!

– Подожди, – Шуркин отец взял стакан, подвинул ближе к себе, но пить не торопился.

– Я был в плену, – сказал он.

– Каким образом? – как-то очень строго спросил майор, так что Шурке стало страшновато за отца.

– В тридцать восьмом забрали на срочную в Тощкие лагеря. И закрутило. Уже в сорок втором попал в армию к Власову.

– Во вторую ударную?

– Так точно. В плен попал, ещё не получив оружия, не успел.

– А ранило где?

- Это от побоев, неудачно бежал. Правда, контузило под Выборгом, ещё на Финской.
- А как освободился?
- Американцы в Германии, когда соседний барак с пленными уже сгорел.
- Да, дела... – почесал затылок майор. – Власова не знал, а вот маршала Мерецкова видел, боевой.
- Мам, он откуда взялся, всё знает? – удивился Шурка.
- В Москве жил до войны, приехал теперь в Куйбышев к родственникам. Говорят – Герой.
- Василий! Слушай мой совет: Жукову надо писать, Георгию Константиновичу, – твёрдо сказал Зуев.
- Что ты говоришь, товарищ майор, об этом страшно подумать. Кто я такой? – отец Шурки безнадежно махнул рукой. – У них просить – это всё равно как требовать у попа сдачи.
- Разговорчики в строю, рядовой Любаев! – грозно сверкнул глазами майор. И уже тише и примирительно добавил: – И потом – гвардии майор, разницу улавливаешь? Гвардии...
- Не дури, Константин, я был в плену – в этом весь гвоздь, меня и так органы без конца разговорами манежат – работа идёт. Нас четверо всего в живых осталось.
- Ну так не тебя же обвиняют, ты чист. В чём дело? И потом – четыре года уже нет Иосифа Виссарионовича.
- Его нет, другие остались. Покоя хочу, устал. Забыть бы всё, – отозвался отец.
- Лезь тогда на печку к своей трещине. Там спокойно сиди, через дырку на небушко поглядывай.
- Он помолчал, глядя в стол, ладонью левой руки потёр о край стола несколько раз, поднял голову:
- Подписываемся оба: рядом с твоей фамилией будет моя. Текст я сам напишу.
- ...Письмо отправили недели через две. Дядя Костя как-то хитро свернул его конвертом и заклеил. Потом вложил в настоящий конверт и послал своему другу-однополчанину в Москву с просьбой вынуть главное письмо и бросить в московский почтовый ящик.

Маслянка

В Утёвке много больших красивых улиц: Крестьянская, Льва Толстого, Фрунзе. Но почему-то самые интересные события происходили всё больше на маленьких и дальних: в Заколюковке, Золотом конце, Тягаловке, в Исаках, Смоляновке, Лопатиновке.

На носу Масленица – дни, наполненные весельем, снежными забавами. Все как бы неосознанно прощались со снегом, хоронили зиму, балуясь напоследок в преддверии весны. Родовались почти язычески солнцу, весеннему свету. Пекли блины и особенно дети радовались им, совсем не пугаясь приближающегося поста. Его мало кто соблюдал, больше было разговоров о нём.

Взрослые ребята во главе с Шуркиным дядей Серёжей, недавно вернувшимся со срочной службы, решили сладить на самой большой, центральной улице, около Ракчеева двора, маслянку. Будет и на Шуркиной улице праздник.

Непростое это дело – соорудить хорошую маслянку. Перво-наперво надо одним концом вертикально вморозить большой лом в вырытую посредине улицы лунку. На другой конец надевалось тележное колесо. Земля промёрзшая, неподатливая. Пока сделали яму в полметра глубиной, умаялись. Когда таскали воду для заливки, у деда Проня Васьева выпросили хороший такой толстый лом, его и установили, не торопясь поливая водой. За ночь мороз сделал своё дело. Наутро лом торчал посреди улицы напротив дома Ракчеевых уверенно и требовательно. Тележное колесо нашлось у Ракчеевых, оно ещё с прошлого года было припрятано за сельницей. Его надели на лом, который теперь служил осью, и осталось дело за небольшим:

к колесу надо было привязать длинную жердь, а на конец жерди – хорошие крепкие салазки. Две жерди метров по пять длиной принёс сам Ракчеев Кузьма:

– Стышные будут, но ничего, сбейте гвоздями и свяжите проволокой. Только верните потом.

Так и сделали. Забава, но помогали и взрослые, артельно всё ладилось быстро. Когда же вставили колья сверху в спицы и трое добровольцев с их помощью крутанули колесо, жердь, немного провисая в середине и поднимая снежную пыль, пошла так быстро, как циркуль, описывая пристроенными на конце салазками окружность, что уже через несколько минут образовались две четкие колеи.

– Андрюха, садись! – озорно прикрикнул Кузьма.

Давний Шуркин приятель Андрей Плаксин словно этого только и ждал. Он лёг животом вниз, руками как можно крепче зацепился за жердину и затаился.

– Пошла, – скомандовал Серёга.

Толпа собравшихся взрослых и ребятишек отхлынула от вычерченного снежного круга. Шурка еле успел отступить, как санки с его дружкой, набрав за полкруга удивительно быстро скорость, пронеслись, поднимая снежную пыль.

Через три-четыре круга колесо так раскрутилось, что вращавшие его еле за ним успевали, подавая скорость напором на колья, вставленные в спицы.

«Разматывается Андрюха, как гиричка на верёвочке», – только подумал Шурка, как Андрея сорвало с круга и он бесформенным комом влетел в толпу зевак.

– Чуры не знают, крутят по-бешеному, не удержишься! – сказал он, отряхиваясь.

Когда слетели ещё двое тягловских, пришедших попробовать, Шурка пошёл за своей удачей. Он уже сообразил, как надо сопротивляться той силе, которая выбрасывала смельчаков. Эта сила шла от колеса по прямой и навывлет, за круг. «Значит надо, – думал он, – лечь спиной к центру, ухватившись руками не за сани, а за жердь, обеими ногами упереться в дальний угол саней». Шурка так и сделал. И, казалось, через два круга поймал удачу, но ребята там, около колеса, поднажали на свои рычаги и он не стал различать опоясывающих маслянку людей – всё слилось в сплошную чёрную массу. Понял, что не выдержит, огромная сила стала отрывать его от жердины, руки слабели и вдруг обожгла мысль: зря так сел. Важно не удержаться на круге, главное – вовремя упасть, ничего себе не сломав. Шурка почувствовал, что скорость возросла, тормозов нет и может случиться беда с ногами. Его уже и на самом деле отрывало и переворачивало слева направо на спину. Он сжался в комок, поджав колени, и тут же неудержимая сила выбросила его сквозь толпу в сугроб.

– Ты – молодец, – сказал Андрей, – продержался десять кругов, столько, может, из наших никто не продержится.

– Тут никто не удержится, – ответил Шурка, выгребая снег из валенка, – силища здоровенная, очень жердь длинная – рычаг, поэтому результат.

– Гришка Варивон на любой удержится, проверено.

– А кто это?

– Знакомый один, с ремеслухи, в гости приезжает из Самары. В воскресенье увидишь, – сказал, немножко важничая, Андрей.

– Здоровый?

– Ловкий, как зверь, во всём. Все коленки в рубцах.

– Почему? – не понял Шурка.

– Дерётся здорово, от ножей ногами обороняться умеет.

– Ну, ты даёшь!

– Увидишь сам, я познакомлю.

Подошёл дядька Сергей и попросил:

– Как расходиться будем, надо бы полить круг водой, за ночь закостенеет. Поможете?

- Конечно, – с готовностью ответил за обоих Андрей.
- Вот уж тогда-то и твой Варивон не удержится на ледяной дорожке-то, – сказал Шурка.
- Поживём – увидим, – уклончиво ответил приятель.

Картина

Эта картина Шурке понравилась сразу. Её повесил дед Иван в передней на самом видном месте, над столом. В центре изображён скачущий на гривастом огромном коне могучий всадник, такой же могучий, как каждый из трёх богатырей на картине над Шуркиной кроватью в спальне.

Шурка заметил, что все в доме любят этого всадника с таким непривычным именем – Тарас Бульба.

Он уже знал историю про Тараса. Знал, что догоняющие его поляки, жёлтым пятном светлеющие в углу картины, схватят этого великана и он погибнет. Схватят, когда он остановится, чтобы поднять свою люльку. «Зачем он остановился, зачем он, такой громадный, погиб из-за какой-то неприметной трубки?» Незаметно, наперекор всему, Шурка начинал верить, что Тарас так и будет скакать, не останавливаясь, а то, что говорят взрослые о его гибели, – неправда. «Просто они не знают всего. Вот он поскачет-поскачет, подумает и не остановится, а соберёт своих казаков, и тогда они покажут этим ляхам!»

Привязанность Тараса к своей люлке была для Шурки мучительно непонятна.

Непонятно и другое. Шурка давно знал, что отец его – поляк, а все в доме матери и в доме деда – русские. «Но ведь Тараса Бульбу, которого все так любят в наших домах и которого я сильно люблю, погубят поляки. Так почему же все меня любят – я ведь тоже поляк? – недоумевал Шурка, рассматривая картину. – Они не должны меня любить!» И, когда он подолгу глядел на скачущих всадников, начинало казаться, что самый первый на коне, догоняющий Тараса – его родной отец. Становилось жалко и Тараса, и отца, который почему-то оказался поляком, когда все вокруг русские, и себя.

«Нет, меня не любят, а только делают вид, что любят». И он стал с болезненной подозрительностью присматриваться к своим домашним, стараясь обнаружить под их дружелюбием неприязнь. Но её не было. И он мучился: «Как же с Тарасом, ведь его сожгли, сожгли...».

И вдруг однажды нашёл отгадку: «Если по-прежнему меня любят, значит, всё-таки поляки не догнали Тараса, значит, он и теперь гуляет где-нибудь со своим войском по такой загадочной земле – Украине».

Речка Утёвочка

Утёвочка – особенная речка. Она есть и её нет. Когда весенние воды получают вольную волю там, далеко в степи, где глазу не видно конца и края равнине, где только слева далеко-далеко угадываются на горизонте под светлыми тучками летнего неба домики и церковь села Покровка, объявляется речка Утёвочка.

Собравшись в один могучий поток, утробно картавя, пенясь, эти воды устремляются к селу. Подойдя к околице и резко взяв в сторону Самары, поток всё-таки не минует Утёвку, а, как острым ножом, отрежет от общей краяхи села несколько улиц и прорвётся к стадиону, где, благоразумно вильнув влево, войдёт в озеро Шамино, а там уж и рукой подать до озера Приказного. И напитает речка на своём пути всё не только водой, но и оставит в подарок жирных карасей и всякую другую живность. Запертые в озере Приказном караси соберут толпы рыбаков и рыбачек. И будут рыбаки и рыбачки, пойманные на кулан собственного азарта, топтать берега Приказного.

- Варька, долго ещё рыбалить будешь?

– Нет, Нюра, парочку ещё поймаю, чтоб уж на полную сковородку было.

Такие вот практичные рыбачки, не то что мужчины. Женщин частенько бывает больше в такие весенние дни у озера, до двух-трёх десятков.

Весёлым и многолюдным становится озеро Приказное весной благодаря Утёвочке. Весёлыми становятся женщины-рыбачки благодаря речке.

Огород Головачёвых упирается в Утёвочку и от неё не отгорожен. Шуркин дед не любит шумливой рыбацкой толпы на берегу озера. Да и к чему ему это? Если он свой вентерь или кубарь всегда поставит у себя в огороде в эту пору между делом. Между делом и опорожнит, вывалив в тазик чумазые золотистые слитки, к восторгу Шурки. Он и зимой не пойдёт облавой на зайца, а добудет его здесь же, в своём огороде, деловито и с лёгкой усмешкой над бедолагами из охотничьей артели.

В русле Утёвочки растут раскидистые вётлы и высокие тополя. Есть и осанистый дуб. В огороде деда Ивана стоит старая ранетка, такая древняя, что кажется Шурке, будто она бабушка всем деревьям, всему подлеску, который скор здесь на рост. Шурка поставил опыт: вырезал полуметровый тополиный черенок и воткнул прямо под ногами, как рука взяла. Теперь из него за два года поднялось деревце выше Шурки. Прёт здесь всё из земли, что ни посади. Оно и понятно: вокруг чернозём да вода. Хотя летом Утёвочки как бы нет, но копни, где пониже, лопатой на три штыка, и вот она – живительная влага. Разве что в самый засушливый год уйдёт поглубже, но знает всё живое окрест: весна впереди, прихлынет талая вода из Курней, да так напитает землю, что с лихвой хватит всем и на всё.

От Ветлянки, из Курней, через степные просторы, рытвины, огороды, через озеро Шамино прорывается Утёвочка частью воды своей в озеро Приказное, а другой частью – в обрамлённую жёлтыми песчаными берегами Самарку, чуть выше притягательного местечка, любимого всеми рыбаками, – Платово.

Один разок, весной в водоволье, Шурка рискнул проверить этот путь и больше с тех пор не решается повторить его.

Оттолкнувшись на дедовом огороде веслом от старой ранетки, он направил плоскодонку в русло Утёвочки и, подхваченный потоком, совсем быстро, миновав десяток огородов, оставшихся без изгороди, оказался на озере Шамино. Всё, что слева, – залитые водой улицы края села, протока из Шамино в Приказное – ему было известно. Вот то, что бурлило и пенилось справа, – манило непреодолимо. И он поддался собственному порыву. Загребая вправо крепким веслом, Шурка устремился пока ещё по довольно спокойной водной глади к Искровской рытвине – в русло Прыгалки.

Как только лодка оказалась на гребне потока, рвущегося через Прыгалку на простор к Самарке, неистово желавшего, очевидно, соединиться с другим, основным – самарским и, обнявшись с ним неразрывно, прорваться к матушке Волге, чтобы там, где-то далеко-далеко, выплеснуться в Каспий, Шурка понял: сопротивляться этому желанию невозможно и губительно.

Грозный и мощный водяной вал, похоже, мог утихомириться, только попав в Волгу.

Пенящаяся, рвущаяся масса воды несла доски, брёвна, очевидно, сорванные с мостов в верховье. Вывороченные с корнем дубы, осокори и всякая другая мелочь и совсем не мелочь – вот что представляла собой Самарка. Надо было суметь не попасть под встающие на дыбы в воде деревья, торпедами мчащиеся брёвна, не налететь на угрюмый многопудовый топляк. Вокруг всё картавило, бурлило и угрожало.

Шурке всё-таки удалось уйти с ревущего потока на обочину в осинник на Платово. Там, отдышавшись, он устремился через огромное водное пространство назад, в Утёвку.

Уже смеркалось, когда его, обессиленного, подобрал бывалый Митяга Коршунов, который испытывал в тот день свою самодельную моторку.

– Чудеса, паря, – удивился, скорее, сам себе Митяга, – я ведь вчера хотел опробовать мотор-то, да бензина не было. Сегодня, вот, получилось, едрёнте.

Шурка смотрел на Митягу и молчал. У него не было сил даже говорить. Руки жгло от мозолей: вода и отсутствие варежек сделали своё дело.

Шурка впервые видел моторку. Звук мотора, Митяга, привязывающий его плоскодонку к своей лодке, голос его, глуховатый и, как у деда, ласковый – всё было как во сне...

«Чего он суетится, ведь я же доплыл», – усмехнулся Шурка и начал терять сознание.

– Чудеса, паря... ёк-макарёк!

Чуть позже он вновь услышал ворчание Митяги и вяло удивился: «Где это я и почему кругом вода?».

...Такая вот речка Утёвочка.

Сейчас зима и речки как бы нет. Есть маленькие островочки льда. Но это пока...

В дебрях Уссурийского края

Шурка лежит в темноте на деревянной кровати в закутке за голландкой и лицо его всё в слезах. Жуткие грабители: Морган, Флинт, его бывший соратник отвратительный одноногий моряк Джон Сильвер со своим попугаем из «Острова сокровищ» – все они забылись, стали неинтересны. Бедный наивный дикарь из уссурийских дебрей гольд Узала, дитя природы, далёкой и красивой – он стоял перед глазами. Уже вторую неделю вечерами в дедовой избе читали эту чудесную книгу – «Дерсу Узала».

Шурка убегал ночевать к деду и мама на него сердилась. Но он не мог пропустить эти чтения вслух, когда все в избе, затаив дыхание, ловили каждое слово, боясь пошевелиться.

С первых страниц удивительной книги он растворился в ней, как растворились в дебрях Уссурийского края Арсеньев и Дерсу Узала, органично слившись с его обитателями. Этот край манил бесчисленным множеством людей, рек, зверей и птиц. Ошеломляли новые слова: изюбр, росомаха, хунхузы, вебрь, кабарга... Одних названий рек Шурка насчитал около десятка и сбился: река Кумуху, река Витухе, Улэнгоу, Дунгоу, Лефу, Сакхома, Алчан, Кулумбе, Амагу, Пия, Кусун...

Летом он прочитал «Всадника без головы», с начала зимы чуть не всего Майна Рида, озадачив темпом чтения библиотекарьшу тётю Любу Богатырёву. Но такое с ним впервые. Амба! Уссурийский тигр! Вызывало восхищение отношение гольда к властному хозяину тайги. Поражал мир, незнакомый и манящий, в котором растворены все люди, изображённые в книге, и в который влекло и манило Шурку. «Дебри Уссурийского края». Он и раньше слышал это слово «дебри», оно всегда будоражило его воображение: «и в дебрях бури бушевали» – так часто пели в песне о Ермаке. Было в этом слове что-то необузданное и холодное. А Дерсу Узала был с Арсеньевым в дебрях, как дома. Чудесно! Мощь и величие Уссурийского края покоряли. И вдруг такой конец: «Часа через полтора могила была готова. Рабочие подошли к Дерсу и сняли с него рогожку. Прорвавшийся сквозь густую хвою солнечный луч упал на землю и озарил лицо покойного. Оно почти не изменилось. Раскрытые глаза смотрели в небо. Выражение их было такое, как будто Дерсу что-то забыл и теперь силился вспомнить. Рабочие перенесли его в могилу и стали засыпать землёй.

– Прощай, Дерсу! – сказал я тихо. – В лесу ты родился, в лесу и покончил счёты с жизнью».

Первой пришла в себя баба Груня, всхлипнула, по-детски икнула и промолвила:

– Вот ведь везде бандиты найдутся на хорошего человека.

А Николай Большак, который приехал из Покровки за овчинами, да так и застрял из-за книги у Головачёвых, заключил философски:

– Важнее человека и природы в жизни ничего нет. Писатель всё правильно рассказал.

Шурка ничего не мог сказать, у него в горле ком и он боялся разрыдаться. Хорошо, что закуток отгорожен от общей комнаты цветастой занавеской и его никто не видел.

«Ведь неверно, что Дерсу покончил счёты с жизнью. Не он покончил. Его убили. За это кто-то должен отвечать», – эта мысль не давала спокойно лежать. «И как же так в жизни получается? Людей убивают и никто за это не наказан. Пушкина убил Дантес, все знают и он не наказан. Дерсу убили, сколько лет прошло – никто не знает, кто его убил».

Душа у Шурки разрывалась от несправедливости, и он не знал, что с этим делать.

– Я вам другое чтение привёз, тоже очень интересное, как обещал. Но это толстая книга, – громко сказал Большаков.

Он шумно поднялся с пола и пошёл в сени. Оттуда возвратился быстро, читая на ходу:

– Александр Дюма. «Граф Монте Кристо». Эх и история!

– Нам твоя Элиза Ожешко понравилась, хоть и полька.

– А это француз, баб Грунь!

Шурка продолжает лежать молча. Ему кажется странным: как можно так быстро переключаться и разговаривать совсем о другом. Только что все узнали, что убили Дерсу, о котором, правда, ещё недели две назад никто ничего не знал, но теперь-то совсем другое дело. Ему страшно жалко Дерсу, обидно за поведение своих, которые говорят уже не об этой удивительной книге.

Дядька Серёжа и Большаков берут стоявшую у стены огромную, в два метра, картину и кладут на специально поставленные столы. Шурке не утерпеть, он встаёт и идёт к ним. На картине развесёлые и разухабистые казаки пишут письмо турецкому султану.

Два Шуркиных дядьки, Алексей и Сергей, вместе с Большаком рисуют её масляными красками по клеточкам. Рядом лежит то, с чего копируют: репродукция, вырезанная из какого-то журнала. Простой раз дорисовали голого по пояс казака, развалившегося в центре картины, огромного и мускулистого, похожего на тигра Амбу. Чудно: теперь, когда Шурка смотрел на него, он казался совсем иным, чем в последний раз, ещё не просохший, зависимый от движения кисточки. Чужой и необузданный, жил своей жизнью и она ему была важнее всего.

«Он мог бы убить Дерсу? – задал себе вопрос Шурка и вначале засомневался с ответом, а потом успокоился. – Нет, конечно же, нет: в книжке тигр Амба и Дерсу разошлись мирно, они уважали друг друга».

Имба Горюновых

Совсем маленькие сестрёнки Любка и Надюха ещё спят, а Шурка и Петя уже сидят за столом. Шурка помогает маме раскатывать большую лепёшку из теста, а Петя, испачкавший лицо мукой, готовится выдавливать из неё стаканом кругляшки. Они пекут пышки.

– Мам, а изба Горюновых, она почему так называется? Она ведь наша. Потому что горюнились часто, горюшко было, да? – спрашивает Шурка.

– Всё было, да прошло. Избу эту нам дед и баба Головачёвы купили. Когда вернувшийся с войны Василий увёл за руку меня в дом к своей матери Прасковье, не понравилось ей это. Много девок было на селе, а он меня с тобой, с чужим ребёнком, привёл. Выговаривала часто мне свекровь. Я плакала, Василий терпел. Просил не обращать внимания. Не выдержал сам: в один день взял тебя на руки, хлопнул дверью и ушёл от матери своей. Я за ним еле успевала бежать. Шли, сами не знали, куда. Опомнились, когда оказались на Самарке, у воды.

– Ну, что, топиться будем? – спрашиваю Васю, а сама сквозь слёзы смеюсь.

И смех, и грех.

– Умру, а к матери не вернусь, – отвечает Василий.

Сели мы на жёлтенький песочек. Я плачу. Чудно теперь вспоминать. Смеркаться начало. Под лодкой какой, что ли, думаю, будем ночевать, больше нигде. А тут ты плачешь, маленький совсем ещё. Вдруг мать моя выходит из кустов:

– Вот они где! А я обыскалась везде, обезножила. – И скомандовала: – Пошли к нам!

– Не пойду, – заерепенился Василий.
– Почему это? – не сдаётся твоя бабка, – я Ивана успокою. Приходим в дом, отец во дворе. Увидел нас с Василием, тебя на руках, взорвался:
– Ах, туды-растуды, знал ведь, что ничего не получится!
– Получится, Иван, получится.
Баба Груня выступила вперёд и ещё увереннее заявила:
– Уже получилось!
– Что? – не понял дед Иван.
– А вот то и получилось, что у мужа и жены должно получиться. Беременная она.
– Ну, дела с вами, – удивился дед.
– Я уже Петенькой ходила, – пояснила Катерина, отнимая у Пети стакан, в который он успел зачерпнуть муки и пытался на коленках насыпать маленькие беленькие горки. – Тогда ночью дед Ваня и баба Груня посоветовались, и наутро поехали в Кинель к недавно покинувшим Утёвку Горюновым. Их изба пустовала. Сговорились. Купили у них дом и год за него расплачивались. Так вот мы и зажили в горюновой избе.

Аксюта Васяева

С тех пор, как Василий Фёдорович стал сам ходить на костылях, в избу к Любаевым зачистили. Одному надо ножницы поточить, другому – сепаратор или пахтонку отремонтировать, валенки подшить. На всё хватает времени у Карася, так по-уличному зовут отца Шурки.

– Ты бы, Вася, хоть говорил, сколько стоит чего. А то меня одолевают, – жаловалась Катерина.

– Сами сообразят.

И вправду, за работу приносили яички, молоко, а то и просто обещали «подмогнуть, когда надо».

– И как это он всё умеет? – удивлялась Аксюта Васяева. – Мою пахтонку три мужика смотрели, а он сделал.

Аксюта забежала за углями для утюга, да невольно задержалась – поговорить охота.

– Руки соскучились по делам, вот и вся разгадка. Его теперь не остановить, я знаю. Семь лет в госпиталях – не фунт изюма, – отвечала мать Шурки.

– Неужто прямо все семь лет? – ахнула Аксюта.

Она приехала жить из соседней Покровки и многого не знала.

– Семь лет, но с перерывами, – поправилась Катерина. – За всё время года три пожил дома, приезжал, а как раны открывались – снова в госпиталь. В пятидесятом, помню, чуть не год пробыл.

– Приезжал... – протяжно повторила она, – а то бы откуда моим ребятишкам взяться. Вон они – свидетели мои.

– Туберкулёз костей, а вы такое, – округлила глаза Аксюта, – настрогали с Василием.

Отца нет в избе, он, позавтракав, ушёл в свой сарайчик и оттуда уже слышен стук его неутомимого молотка о жестянку.

Шурка смотрел на Надюху с Петьюхой, которые были заняты своим делом: отвоёвывали друг у друга место в углу за столом – там лавка шире и рядом окошко, и думал: «Они свидетели, а я – кто? Свидетель чего?».

Эта мысль возникла случайно и он не знал, что с ней делать. Она крутилась и не уходила из головы. Ему стало стыдно. Неужто мама догадается, что он так может думать? «Только бы Аксютка, только бы она так не подумала и не спросила маму, ведь не глупая же совсем». Он поднял голову и увидел розовое, молодое Аксютино лицо, её озорные глаза.

– Ох, и ребятишки у тебя молодцы! Все такие разные! Эти белаявые, а Шурка – чернявый и волосы выются. Вот погоди годков десять: все девки твои будут, ей-богу, – говорит она заразительно, – вишь какие у тебя губы толстые!

Шурка, не зная, как себя вести, сидел молча.

– Аксютка, уйди, а то я тебя сейчас ухватом охажу, глупости разводишь, – весело шумнула Шуркина мать.

– Всё-всё, всётышки, и так угли мои тухнут!

Подхватила с шестка свой чумазый чугунок и через секунду была в снях. А чуть позже её голос уже доносился со двора – она разговаривала с Василием Фёдоровичем. И чему-то опять громко смеялась.

Зимним вечером

У Головачёвых играли в лото. Шурка был рад, что остался ночевать у деда. Ему нравилось смотреть, как играют, а иногда случалось и самому участвовать. Играли спокойно и дружелюбно. За окном синел февральский поздний вечер. Замёрзшие окна и подвывание ветра делали особенно уютной большую переднюю, где шла игра. Игроки сидели за столом посредине комнаты, а Шурка лежал на кровати и наблюдал за взрослой забавой.

Сегодня пришёл Сашка Мазилин и всё стало немножко по-другому. Смешливый и необидчивый, он всегда в центре внимания. Мешочек с бочонками у Мазилина.

– Козьи ноги! – зычно провозглашает Сашка.

– Говори по-людски, – сердится Пупчиха, соседка Головачёвых.

– Одиннадцать, – подсказал дядька Серёжа, оставивший свои учебники ради игры.

– Сашка, ты какой-то неправильный, – паникует Пупчиха, – брось люсить!

– Салазки! – продолжает «кричать» Мазилин.

– А это у нас что? – вновь переспросила суматошно Пупчиха.

– Шестьдесят шесть, – поправился Мазилин и продолжил: – Тудыль-судыль, что означает для неграмотных обнаковенные шестьдесят девять.

– Кончила, кончила низом! – радостно взметнула пухлые белые руки Пупчиха, – кончила, как ты ни хитрил-мудрил, Сашка!

У неё при небольшом росте розовые, массивные, крепкие руки. Когда она сидит за столом, видны только голова, не такая, как у всех, – с кудряшками светлых, льняных волос и эти чудные здоровенные руки-клешни. Во время её работы в пивном киоске на площади у продмага в окошечке видны лишь руки и пивные кружки.

– Плакали ваши денежки. – Она по-детски причмокнула ярко-красными губами и ладонью смахнула медяки в кружку. – Ну, вот, пришла за закваской, Груня, а ухажу с пятаками, раз кислого молока нет.

– Э-э-э... Так нечестно, – вмешался Мазилин. – Объявляю ультиматум тебе, Нюра!

– Чевой-то? Ультиматом? Я и так этих матюгов-матов за день слышу – голова болит, пожалей!

– Вот ведь женщина какая ты, Нюра, некультурная, – оседлав своего любимого конька – подурочить публику, сказал наставительно Мазилин. – Я говорю что? Или ты продолжаешь играть до последнева, или возвертай деньги на стол.

– Щас тебе! – лаконично, но непонятно сказала Нюра. И добавила: – Играйте без меня, вас народу здесь... курочке клюнуть негде.

– Да уж! – удивился Мазилин, – чураться ты нас.

– Не замай, Сашка, – обронил Шуркин дед.

– Вот-вот, мне ещё закваску найти надо, к Микляевым сбегаю.

И Пупчиха выкатилась сначала из-за стола, потом из передней и пропала в задней избе.

«Как лотошный бочонок, – подумал Шурка, – всегда бодрая, раздутая от удовольствия, свежая и выкрашенная лаком».

Игра в лото продолжалась. Позвали и Шурку. Он сел за стол около бабы Груни, подвинувшей ему десять копеек. Три монетки по три копейки и одну погнутую копеечку, рядом насыпала горсть тыквенных семечек, чтобы закрывать цифры на картах.

– Поиграй вместо меня, – сказала она, – а я пока паголенки надвяжу да пельмени с мороза принесу.

Семечки пахли очень вкусно и Шурка сразу же забеспокоился: выдержит ли соблазн?

«Кричать» пришла очередь дядьке Серёже. Он умел так быстро из горсти то громко, то тихо называть числа, что трудно было угнаться, пока не наступал по правилам момент, когда надо было доставать по одному бочоночку.

Возобновившаяся игра прервалась неожиданно. Хлопнула в сенях дверь и со сбившимся на голове платком, с краснощёким от мороза лицом вкатилась Пупчиха.

– А-а!.. – воскликнул Мазилин, – совесть заела, возвернулась!

Но Пупчиха его не слышала и, кажется, не видела.

– Ванечка, – подкатилась она к Шуркиному деду, сидящему за столом спиной к голландке, и заморгала часто своими круглыми глазами, – Ванечка, у меня в доме вор.

– Что городишь-то?

– Правду говорю. Я пришла, а замок на сенцах открыт. Я, это, ну, думала, что забыла закрыть сама, и прошла в сени-то, а дверь в избу приоткрыта. Чую, что-то не то, не могла я дверь-то зимой открытой оставить, верно ведь? А потом вдруг слышу: кто-то дышит там. Я на цыпочках, перепугалась: убить ведь могут... на улицу – и к вам.

– Ну, что, Сашка, – сказал Головачёв очень спокойно, будто это привычное какое дело, – пойдём посмотрим?

Мазилин вначале как-то нервно дёрнулся, а потом чересчур, как показалось Шурке, воинственно выкрикнул:

– Знамо дело, пойдём, ружьцо у тебя где, дядь Вань?

Он обвёл избу решительным взглядом, увидел у себя за спиной высоко на стене висевшее на двух гвоздях ружьё и полез доставать.

– Хошь у меня и ладанка на груди, а так надежнее!

– Да не чуди, хватит и лопаты, – усмехнулся Головачёв.

– Вань, – сказала бабушка, – боюсь я.

И кротко посмотрела на мужа.

– Ничего, будьте дома. И ты, Серёжа, пойдём на всякий случай.

И они ушли.

Вернулись быстро. В плетне, отделявшем двор Головачёвых от Пупковых, была калитка.

– Вот ведь холера какая, сиганул так, чуть кубанку с головы не сшиб, – говорил возбуждённо Мазилин.

– Чего же не стрелял? – насмешливо спросил Шуркин дед.

– Да ведь я хотел, а потом он меня в снег смахнул, в сугроб, пока то да сё, темнотища такая...

Из разговоров выяснилось, что, когда деда Ваня вошёл в сени с лопатой, вор выскользнул в открытую дверь за его спиной – и был таков.

Сели снова играть. Не прошло и полчаса, как неожиданно явился гость – Борька Жабин, новый приятель Серёжи. Он недавно приехал из Зуевки с родителями и начал работать на стройке подсобным.

Раскрасневшийся Борька шумно разулся и подсел к играющим. Это был крепкий парень, широколицый, с тёмными цыганскими глазами. Волосы его, длинные и очень подвижные, лежали на голове ровно. Когда он низко наклонялся, они спадали вниз и закрывали лицо до

подбородка. Жабин в такие моменты, привычно и не спеша мотнув, как лошадь, головой, одним движением укладывал их на место.

– Давно играете? – спросил Борька, взмахнув головой, и задержал её в неестественно поднятом положении, стараясь оставить волосы дольше обычного закинутыми назад. Так он выглядел несколько горделивым.

– С семи часов, – ответил дядька Серёжа.

– А сейчас уже девять, – попытожил зачем-то Жабин.

Игра шла своим чередом, а Жабина почему-то тянуло на разговор.

– Мороз-то на дворе какой, – ни к кому не обращаясь конкретно, сказал он.

У Шурки семечки закрыли сразу почти всю карту, близилась развязка и он не отрывал глаз от стола, перестав наблюдать за Жабиным.

Вдруг Мазилин встал и что-то сказал Шуркиному деду шёпотом в ухо, важно изобразив из левой ладони подобие рупора.

Иван Дмитриевич, ни на кого не глядя, кивнул головой. И Мазилин тут же вышел из избы.

Жабин быстро встал и направился к выходу.

– Сядь, – веско, не глядя на Борьку, сказал дед. – Ты никуда не выйдешь, дверь снаружи закрыта на замок.

– С чего это? – нервно спросил Борька.

– Придёт Мазилин, тогда скажем.

...Мазилин вернулся быстро.

– Он это, дядя Вань, он, вот стервец, явился не запылился глаза отводить, дураков нашёл, – зачистил Веня. – Чилижным венником отходить вражину, что ли?

Выдвинув стул на середину избы, поставил на него валенок. – Аккурат всё подходит, его следы, всё промерил до самых ворот. Твой валенок? – он ткнул указательным пальцем почти в лицо Жабину.

– Ну, мой, – затравленно огрызнулся тот.

– А мне и не надо было вещественных доказательств, я так сразу всё понял, когда явился нас пощупать: узнаем мы тебя или нет. Я в спину твою чуть не пальнул, по ней тебя и узнал.

– Как оказался в доме у Пупчихи? – буднично спросил дед Шурки.

– Да просто, у неё замок никудышный.

– Зачем залез?

Шурка смотрел на вора и ему странно было видеть обычного человека, похожего на всех, но переступившего какую-то очень важную черту, которая враз разделяет людей.

– Дядя Вань, честное слово, я хотел взять только конфеты. Борис опустил голову, спрятав лицо под свои причудливые волосы. И, чуть помолчав, добавил:

– Шоколадные.

– Вот дурак-то, прости Господи, – выдохнула Шуркина бабушка, – а я ещё дивовалась: чтой-то он нервничает, окаянный. Закалякать хотел нас. Явился, басурман.

– Дядь Вань, отпустите, – совсем по-детски вырвалось у Жабина, – ей-богу, больше не буду.

– Что будем делать, Сашка? – обратился Иван Дмитриевич к Мазилину.

– Утро вечера мудренее, пускай завтра с Пупчихой договариваются полюбовно. Если простит – одно дело, нет – совсем иное, – предложил Мазилин, осанившись и поигрывая плечами.

– Слышал, Борька, пусть будет так. А теперь ступай, – согласился дед.

Жабин вскочил и бросился к выходу.

– Стой, гражданин Жабин! – усмехнулся Мазилин.

– А? – невнятно и растерянно откликнулся Борька.

– Валенок заberi, он нам здесь мешает. Зачем нам твои бебехи?

Все засмеялись.

Когда хлопнула дверь в сенях, бабушка осторожно сказала:

– Верно ли сделали, что отпустили на ночь, вдруг спалит нас?

– Это ж надо додуматься – нас всех спалить? – возразил Головачёв. – Будет городить-то!

Королевский суп

У дядьки Серёжи созрела идея попробовать царского, или королевского супа. Как вернулся из армии, всё придумывает чудное.

– Шур, вон видишь на сельнице стаю воробьёв?

Шурка давно заметил: последнее время воробьи тучей стали залетать к ним во двор, сидели и чулюкали на солнышке.

– Давай пальнём разок мелкой дробью.

– Зачем?

– Птица чем мельче, тем вкуснее. Все короли это знали, поэтому ели колибри, бекасов, куликов разных... Смекаешь?

– Не очень.

– Режь свинец, катай самую мелкую дробь. Ясно? На два патрона.

– Что, охоту на воробьёв откроем?

– Так точно, может, они вкуснее голубей.

– Деда не заругает? – засомневался Шурка. – Во дворе палить? Скотина кругом.

– Нет, мы ему объясним потом. А летом черепашьего супа хочу попробовать.

– Чего? – опешил Шурка.

– Ну, в Подстёпном пошарить, а лучше в Ревунах. Найти черепаху и суп сварить.

– Разве у нас живут черепахи? Они же в тёплых странах.

– Глупости, я уже одну находил!

– Может, кто купленную, базарскую потерял или сама сбежала?

– Да нет, люди, как ты, ничего не знают. Живут у нас они. А нынешним летом я, знаешь, что видел?

Шурке давно хотелось увидеть змею-медянку, о ней ходили легенды. Но Серёга удивил ещё больше:

– Я видел птичку колибри, вот! – Он значительно посмотрел на Шурку, как если бы открыл новый Монблан или Эверест.

– Как? Она же в тёплых...

Серёга не дал договорить Шурке.

– Вот-вот, а что мне делать, если я свидетель, как подлетела к цветку, сунула туда клювик и начала пить нектар?

– А может, это большой шмель?

– Нет, какой у шмеля клюв! Ты такое видел?

– Нет, – растерялся Шурка. – Колибри... Но она же маленькая?

– Да, раза в два больше шмеля.

«Ох, и чудной мой дядька, – думал Шурка. – Никогда не знаешь, правду говорит или дурачится, а ещё в институт готовится поступать».

Ответ от Жукова

В начале апреля Василия Любаева вызвали в райвоенкомат, потом в райсобес – и закрутилось колесо! Оказывается, пришла бумага из Москвы и ему срочно надо было явиться на перекомиссию. Он явился, не таянул, и оказалось, что Любаев – инвалид не третьей группы, а

второй. И ему положена пенсия участника войны. Это совсем другое дело, не то, что раньше. А ещё через неделю в райсобесе сообщили о компенсации того, что раньше не выплатили.

Шуркин отец получил сразу больше двух тысяч рублей. Было решено строить новый дом!

– Вот и нас Бог вспомнил, – радовалась Катерина, – спасибо Ему!

– Спасибо Зуеву Косте, я бы сроду не решился, – признавался Шуркин отец. – До следующей зимы изба не простояла бы: стена совсем повалилась. Но ничего, будем зимовать в новой!

– Вася, а надо всего сколько – ужас! Где мы чего наберём?

– Я всё продумал. Весной сделаем саман, за лето сложим стены артельно. В лесничестве меня включили в список на вырубку делянки: наберём каких-никаких брёвен на доски для пола и потолка. Там осина и осокорь, я знаю – это за Зимней старицей – сойдёт. На делянке придётся работать тебе, Катерина, и Шурке. Согласны?

– Согласны, – загорелся Шурка.

– Я поговорю, должны же принять в артель замену вместо меня, коли я не могу.

– Согласятся, согласятся, – заторопилась мать. – Отец поможет, правильно?

– С отцом твоим вроде бы мы уже стакались, он во всём обещал подмогу. С начала лета лесины заготовим, высушим, в августе распилим на пилораме, а к этому времени должны убрать развалюху и выложить стены, иначе к зиме не вселимся.

– Убрать? – выдохнул Шурка.

Как ни плоха была стена за печкой, пусть оттуда «сытило», как говорила мама, холодом, но это была изба – оплот всего. И вдруг её не будет?

– А где же мы будем жить? – спросил Шурка.

– Шурка, да ты что? Мы и под открытым небом не пропадём, чего испугался, лето же, – рассмеялся отец.

«Но всё равно? Печка, варить как? И всё прочее...» – соображал на ходу Шурка.

Отец вел свою линию крепко:

– Корову пустим в стадо, освободится мазанка – почистим, поставим примус, и живи хоть до белых мух, верно?

Шурка редко его видел таким. Он и сейчас не был развесёлым, но глаза и лицо светились какой-то особой радостью, не соглашаться с ним нельзя. Шурка давно понял: сопротивляться бесполезно. Отец всё делал по-своему, ибо всегда верил, что прав.

– Ох, развоевались мы что-то, давайте ужинать, а то совсем темнеет, – забеспокоилась Катерина.

– Начнём! Только начать надо, – задумчиво сказал отец, – а там война план покажет. Живы будем – не помрём. Так, Шурка, или нет?

– Так, пап, – подтвердил тот.

– Ну, вот, мать, мы и договорились обо всём, считай, полдела сделали.

– Помоги нам, Пресвятая Богородица, – сказала мать.

И это очень удивило Шурку.

Она так никогда не говорила.

Жаворонки

Шурка проснулся рано. Он не мог долго спать в такой день. Его мама гремит печной заслонкой, собирается печь «жаворонков» – птичек из теста. Бывает это всегда в середине марта и по-разному: можно раскатать тесто, свернув валик, этот валик завязать узлом – получится ловкая завитушка. Точным движением ножа делается с одного конца птичий клювик, с противоположного – хвостик. Глазками служат головки спичек или просяные зернышки. А можно витое тельце не делать, а просто слепить птичку с клювиком и хвостиком.

Таковыми птичками заманивают весну и встречают перелётных птиц с юга:

*Жаворонки, прилетите к нам,
Тёпло леточко принесите нам,
Нам зима надоела —
Хлеб-соль у нас поела.*

Эти слова надо пропеть, обязательно забравшись на конёк сарая – так всегда казалось Шурке. Он и сейчас устремился наверх.

Любка стоит в отцовских валенках посередине двора и лепечет приветливые слова. А самая маленькая Шуркина сестрёнка, Надюха, вообще ещё спит.

– Сами вы – мои жаворонушки звонкие, – радуется мама. – Шурка, не бери Петю, упадёт карапуз.

После песенки про жаворонков, пропетой на крыше сарая, слегка промёрзнув, хорошо сидеть за столом и есть, запивая топлёным молоком, горячие пышки. Их мама делает из того же теста, выдавливая на столе стаканом из большой раскатанной лепешки. Это вам не затируха!

– Мамака, мы зовём, зовём жаворонков, а я не видел ни разочек их, они где живут? – спрашивает Петя.

– Мам, и я не видал ни разу, – спохватывается Шурка.

– А когда ходили к деду на бахчи, помните, слушали, – подсказывает мать.

– Помню, помню, – лепечет Петя, – но мы их не разглядели, они высоко в небе. Вон, ласточки у нас в сарае живут, но не поют. Папа их касатками называет.

Шурка вспомнил про стрижей, живущих в обрывистом берегу Самарки в норах. Там же гнезятся и щурки. Прошлым летом он обнаружил, что залиvistый соловей – на самом деле маленькая серенькая птичка – устроил себе гнездо в куче котяков на задах, за сараем.

– Мам, мы увидим в это лето жаворонков? – не унимается Петя.

– Увидите, увидите, – успокаивает Катерина, – какие ещё ваши годы. Вот подрастёте, побольше будете под открытым небом, на вольном воздухе – и увидите. Жаворонки любят простор, широкое хлебное поле, где много воздуха. Они там от радости звонко и неумоимо поют.

Любка громко и горестно заплакала:

– Моя птичка ко мне не прилетит!

– Почему? – спросила от печки мать.

– Я голову у неё съела, одна тулбище осталась.

Петя, глядя на сестрёнку, захохотал. Перестав смеяться, очень серьёзно заверил:

– Вырастем мы и летом вырвемся на простор! Там жаворонков встретим! Колокольчики послушаем!

Транспорт

– Мать, а мать? – Василий выжидательно замолкает.

Катерина, сидя напротив за столом, весело посмотрела на него:

– Придумал опять что-нибудь?

– Придумал, – не спеша отозвался тот и отчего-то ядрёно крикнул.

– Баню строить?

– Нет, не баню.

– А что?

– Хочу сделать сбрую для нашей коровёнки Жданки – транспорт нужен в хозяйстве, понимаешь? А я только лёжа могу ехать, значит нужен рыдван.

– Если что, можно лошадь взять в колхозе, у отца – Карего, председатель Шульга поможет, – робко возразила Катерина.

– Шульга теперь не поможет, – махнул рукой Василий.

– Почему же?

– Сняли его, другой будет.

– А другие что, не люди? – не сдавалась Катерина.

– Да нет, это не то. Просить надо, а они всегда заняты – лошади. Приноравливаться нужно. А тут сам себе хозяин. Уедем на целый день.

– Жданку жалко, – всхлинула вдруг, как девочка, Катерина.

Шурка притих, наклонив голову над чашкой.

– Да не горюньтесь вы! Всю сбрую сделаю сам. Вместо хомута будет шорка, правда, потника нет, но можно из мешковины. Рыдван раза в полтора будет меньше, колёса лёгкие, металлические. Мне Григорий Зуев обещал раздобыть. Сено и дрова будем возить понемножку. Только в хорошую погоду.

– А вдруг молоко пропадёт? – Шуркина мама горестно вздохнула.

– Будет раньше времени жалковать, не враги же мы себе.

– Мне и тебя, Василий, жалко!

– А что меня жалеть? Гляди!

Он встал из-за стола. Не тронув костыль, вышел на середину комнаты. Повторил:

– Глядите!

Прошёлся по всей комнате, сильно припадая и держа прямыми левую ногу и спину. Подошёл к подоконнику, зацепился за него правой рукой. Весело оглянулся. У Шурки перехватило дыхание.

– Вот вам!

Отец, держа прямо спину и оттопырив резко в сторону левую ногу, медленно начал поджимать правую, пока она не согнулась наполовину. Большим пальцем победно ткнул в пол.

– Видели?

И, не дожидаясь ответа, продолжал:

– Теперь любой гвоздь, любой инструмент могу поднять сам с пола!

Мать подошла и ладонью вытерла выступившие на лбу отца капли пота.

– Если потренируюсь ещё, через пару недель смогу на правое колено вставать. А ходить без костылей – с бадиком. А это знаете, что значит? – И сам же ответил: – Это значит, я смогу пилить дрова, вообще работать на земле, на полу, а не только за верстаком, стоя.

Он помолчал, потом обратился к сыну:

– Шурка, мы скоро будем косить. Я уже продумал, как сделать косу для таких, как я, прямых. Это несложно!

– Несложно, – эхом отозвалась Катерина, – а косить-то как?

– А как все, так и мы!

Он с утра говорил обо всём решительно.

Такой день у Василия Любаева.

Было море

Шуркин школьный учитель по труду Николай Кузьмич утверждает, что там, где расположено село Утёвка, тысячи лет назад было огромное море.

И верно, село лежит в низине, со всех сторон – возвышенности. Шурка верит своему учителю, ему нравится, что живёт он на дне давно исчезнувшего моря. Всё становится намного интереснее, значительнее, когда представишь бескрайнюю морскую гладь и одинокий парус

в тумане. Получается, что не обделено историей село. Здесь, наверное, раньше происходили какие-нибудь исторические события. Или хотя бы пираты обитали...

И название села вроде произошло от слова «утки», которых, по преданию, было тьма. Шурка часто думал об этом и у него получилось стихотворение, которое будто он и не писал, а так, само собой вышло:

*Кишели утки, было море —
Так к нам в преданиях дошло.
Моря исчезли, на просторе
Моё раскинулось село.
Но и опять же было море
Людских страданий и невзгод:
С людьми сроднившееся горе
Стояло вечно у ворот.*

Шурка показал строчки дядьке Серёже. Тот, прочитав, прищурил левый глаз, словно приготовился выстрелить:

- Послушай, ты это не у Некрасова стянул, а?
- Да ты что, там же Утёвка наша!
- Неужели сам?
- Сам.
- Ну, ты, племяш, даёшь! Я тоже стихи сочинял. Помню до сих пор:

*Первый луч, пробиваясь сквозь дымку,
Побежал по воде, по кустам.
Осветил на Лещёвом тропинку
И взметнулся опять к небесам.
Серебрится росой прохлада,
Полыхнула заря над водой,
И пастух деревенское стадо,
Матеряся, повёл за собой.*

Называется «Утро в Утёвке». Написал на второй день, как с армии пришёл. Нравится?

Он очень серьёзно посмотрел на Шурку.

– Здорово, только матерные слова мешаются.

– Вот, все чудачки и ты – тоже. Их здесь нет. Это же правда, всё как на самом деле. В жизни маюги есть? Есть. А в стихах моих нет!

– Как же нет, они сразу вспоминаются, когда строчку произносишь.

Серёга обрадовался:

– В этом и фокус, понимаешь? Зато образ сразу встаёт, правда? Я об этом уже думал и читал – образ нужен. Валентина Яковлевна, когда я ей в клубе показал на репетиции ихней стихи, хохотала громко. А потом сказала, что во мне крепкий разбойник сидит и впереди у меня большая дорога.

Он доверительно посмотрел на Шурку:

– У меня в армии накопилось стихов целая общая тетрадь. Я не ведаю, что с ними делать. А знаешь, матом легче писать, как по маслу идёт. Легко и даже красиво. И всё на своём месте. У меня столько частушек таких... Если бы со сцены пропел, околели бы все враз. Я их храню ото всех, как динамит, вдруг пригодятся шархнуть от души по скукотище!

Шурка в смятении. Душа в искусстве искала высокое, а тут Серёжкины рассуждения! Его горячее дыхание, озорство, которое само по себе имело какую-то необъяснимую прелесть. Оно часто сопровождало дядьку.

Серёжа был красив. Красив в любой одежде: грязной, новой, старой. В телогрейке на голое тело выглядел так, что люди, оборачиваясь, смотрели и любовались.

Шурке вспомнилась странная фраза, сказанная дедом Иваном, как это умел делать только он один – вроде бы самому себе, но чтобы и окружающие слышали: «Дьявол, красивый! Но – мой сын».

Шурка не понимал слова деда, но от этого не было беспокойства, наоборот: раз он всё видит, значит всему свой черёд. Подобное уже не раз было. Всё встанет на свои места.

Верочка Рогожинская

Её привела на репетицию сама Валентина Яковлевна.

– Вот вам пани Рогожинская, – сказала она.

Потом энергично тряхнула своей кудрявой головой:

– А то у нас пан Ковальский есть, а пани не было. Теперь будет, – сказала, словно поставила точку.

Шурка узнал новенькую, она из параллельного шестого «б» класса. Родители – врачи, недавно приехали работать в районную больницу из города. Он её видел два раза в школе и один раз в библиотеке. Его поразило в ней всё. Но самое главное то, как на него посмотрела: в упор открытыми глазами, доверчиво, как будто они хорошо знакомы.

– Всё! Я давно хотела поставить «Барышню-крестьянку», но некому было играть Лизу, вот теперь, слава Богу, есть! Молодого Берестова, Алексея, будешь играть ты, Ковальский, Муромского отдадим Игольникову, Ивана Петровича Берестова – Петьке Дёмину. С остальными разберёмся.

– Я никогда не играла в драмкружке, – простодушно сказала Верочка, – вовсе и не смогу, тем более классику.

Она зажмурила свои глаза и как-то очень долго подержала их закрытыми, потом распахнула ресницы и будто увидела всех впервые:

– И вообще боюсь, – без всякого кривляния просто сказала она.

Петька Дёмин хохотнул, но, увидев строгий взгляд Валентины Яковлевны, спрятался за спину Лёшки Игольникова.

– А вот и хорошо, что боишься. Наши-то уже ничего не боятся, в этом всё и дело! Вот вам слова, быстренько переписывайте и учите, на следующей неделе начнём репетицию. Возьмите повесть Пушкина – почитайте. Я проверю.

Вышли на улицу и получилось так, что Шурке и Верочке по пути – обоим надо в библиотеку.

– А что вы берёте читать? – спросила Шуркина спутница.

– А что дадут.

– Как это?

– Всё, что положено, я уже прочитал, теперь – что положено старшеклассникам.

– А «Королеву Марго» читали? У вас тут есть такие книги?

Шурка давно уже прочёл всего Дюма, но не стал говорить об этом, не хотелось, чтобы она подумала, будто он хвастлив.

– Да.

– А можно нескромный вопрос?

– Можно, – охотно согласился он.

– А почему у тебя фамилия нездешняя?

Она легко перешла на «ты».

– И у тебя – тоже.

– Я – это другое дело.

– Какое другое?

– Я приезжая, а ты?

– Я здесь родился, разве это плохо?

– Нет, – сказала она и немножко помолчала, – я – о другом. Ну, не хочешь об этом, не говори.

Ещё раз посмотрела на него в упор, внезапно засмеялась и произнесла, скорее, видимо, для того, чтобы только не молчать, так ему показалось:

– Мне сказали, что ты – круглый отличник, да?

– Да.

– Но отличников везде не любят, так ведь и у вас в школе?

– У нас по-всякому, я тоже отличников не люблю.

– А сам?

– У меня просто так получается, я не умею зубрить.

Она взглянула на него внимательно:

– Воображаешь?

– Нет, – сказал Шурка и ему стало неловко.

Получалось всё-таки, что он хвастался для чего-то, а ему этого и не надо было. Просто хотелось с ней говорить. Нравилось, как она смотрела, не стесняясь, и как улыбалась сама себе.

Когда пришли в библиотеку, он намеренно отошёл от Верочки к дальней полке. Ему не хотелось, чтобы кто-то видел, как она на него смотрит. Был уверен: так смотрит она только на него.

Чужаки

В окрестностях Утёвки, Зуевки, Кулешовки обнаружили нефть. Заработали скважины. Поползли слухи, что на месте Утёвки или вблизи будут строить город нефтяников.

– Беда-то какая, – крестилась Шуркина бабушка на образа.

– Будет тебе, никакой беды, – успокаивал её Фёдор Остроухов.

– Народу нагонят, вот и беда. Где в одном месте народу много, тесно, там завсегда беспорядок, – не сдавалась та. – Избу не закрывала на замок, теперь придётся.

...Она оказалась и на этот раз права.

Расположившиеся в посёлке Ветлянка молодые бойкие нефтяники стали наезжать в Утёвку по вечерам на танцы. Часто это кончалось дракой. Свидетелем одной такой схватки оказался и Шурка.

Выходя после репетиции из клуба, он увидел, как красивый, спортивного вида парень спокойно стоит у крыльца и курит. Чужак миролюбиво поглядывал на проходивших и весь его вид показывал, что он не желает никому зла. И тут невесть откуда появился маленький вёрткий Гнедыш и, резко подпрыгнув, сорвал с незнакомца модную фуражку. Ловко держа её за козырёк, сильно запустил над головой, и она, описав большую дугу, улетела за дровяной сарай. Чужак не побежал за ней. Резко шагнул в сторону налётчика и наступил ему на ступню. Тот, пытаясь вывернуться, тащил ногу к себе.

– Принесёшь кепку – отпущу, – сказал чужак.

– Больно, пусти! – неестественно громко закричал Гнедыш.

И это прозвучало как сигнал. Из-за дровяного склада вышли больше двух десятков сельских ребят, вооружённых кольями. Выстроились узким коридором, куда должны были попасть все выходявшие из клуба. В подготовленном сценарии было всё предусмотрено.

Танцы закончились, народ хлынул, и приезжие оказались встреченными во всеоружии. Но не тут-то было. Чужаки были опытными бойцами. Прямо у входа начинался деревянный забор из штакетника длиной метров тридцать. Через считанные минуты забор исчез. Мгновенно оценив ситуацию, чужаки метнулись к нему – штакетинки попали в ловкие и крепкие руки. Рукопашная, сопровождаемая треском деревянного оружия и резкими криками, развернулась вначале у клуба, затем нефтяники стали отступать по улице к своему автобусу, но без паники и как-то, удивительно для Шурки, организовано. Похоже, что они оборонялись так не впервые...

Три последующих дня угрюмый Коныч со своим родственником восстанавливали ограду.
– Они девок делят, а я без работы не останусь, – говорил он.

Эта история имела своё продолжение. Мать послала Шурку за постным маслом в магазин. На дворе стояла теплынь. Была Пасха. В проулке, около Ваньковых, взрослые ребята играли в орлянку, туда Шурка не стал заходить. Посмотрел со стороны на нарядную пёструю толпу и пошёл дальше. Не то чтобы ему было неинтересно, просто торопился. Но вот мимо двора Ракчевых пройти не мог. Этот двор, весь освещенный солнцем, сухой и приветливый, встретил Шурку разногласицей большой ватаги ребятишек и парней.

Около старой травокоски, вросшей колёсами в землю, на ровной площадке стояли три гири. Валерка Салтыня, сняв белую рубашку, подошёл к самой большой – в два пуда. Поплевал на ладони. Не спеша поиграв растопыренными пальцами, резко рванул железное чудовище на себя и гиря оказалась у него на плече. И тут произошло самое главное: выбросив левую руку горизонтально вбок, правой Салтыня не спеша, монотонно и спокойно, как какая-то очень крепкая машина, выжал вес подряд пять раз. Все ахнули.

Шурке захотелось подойти и попробовать поднять полупудовую гирю, но почему-то медлил. Его опередил Мишка Лашманкин. Взял «полпудник», подкинул вверх и, ловко крутанув, на лету поймал за ручку.

Шурка опешил. Он не ожидал от Мишки такой ловкости и уверенности.

На другом краю двора – свой интерес. Здесь чокались: крашеными луковой шелухой или чернилами пасхальными яйцами играли в азартную игру. Били тупым или острым, как сговорились, концом яйцо соперника. Если твоё целое – ты выиграл.

Тут-то Шурка и пожалел, что не захватил с собой из дома писанку – крашеное на особинку яйцо. На него бы точно выменял три, а может, и больше, яйца, на выбор. И сыграл бы.

У всех обычные пасхальные яйца: крашенки. А писанки готовили по-иному: прежде, чем яйцо опустить в чернильный или луковый раствор, его причудливо расписывали воском на свой вкус и лад. Для этого пользовались гусиным пером. Обрезав самый кончик, набирали туда плавленный горячий воск и быстро выдавливали на яйцо. Воск застывал. Яйцо с рисунком бросали в красящий раствор, когда воск исчезал, на его месте на скорлупе возникал рисунок. Такое пасхальное яйцо ценилось вдвойне.

Только Шурка решился раздобыть яйцо, чтобы попробовать сыграть, как во двор вошёл Валька Рязанов. Шурка тронул его за рукав:

– Валь, ты что так вырядился? – и показал пальцем на тёмно-синие галифе приятеля. – Помереть же можно со смеху, все в шароварах уже, тепло как!

– Пойдём в огород, за сарай, объясню.

За укрытием Валька запустил руку в штанину и вынул огромный старинный револьвер.

– Во, смотри!

– Вот это да! – только и выдохнул Шурка, – откуда это у тебя?

– Понимаешь, дед умер в прошлом году. Он когда-то богатым был. Пряхи делал, всякие вещи из дерева, даже деревянный велосипед. В этом году стали печь ломать, разобрали когда, смотрю – тайник в подполье. Ткнулся: ящик со старыми деньгами и вот он.

– Что теперь с ним делать?

– Не знаю, поносить охота с собой. У него пружина очень тугая или заржавела. Не осиливаю курок одним пальцем спускать. Надо разбирать и смазывать.

Шурка смотрел на покрашенный светлой краской с костяной ручкой револьвер и не мог отвести глаз. Вид настоящего, возможно, уже побывавшего когда-то в деле оружия завораживал.

– Сань, может, из такого в Пушкина стрелял Дантес, а?

– Отец знает про пистолет? – побеспокоился Шурка.

– Нет, я только деньги всем показал.

– А патроны?

– Вот! – Валька протянул на ладони пять штук.

Шурка взял один. Гильза длиной сантиметра два, сама пуля, неприятно тупорылая, оказалась короткой – примерно в один сантиметр.

– Тяжёлое всё какое, – подытожил Шурка.

– Вот поэтому я в галифе. Шаровары спадают от него. Резинка не держит. У меня Генка Афанасьев очень его просит.

– Зачем? – удивился Шурка.

– Да, говорит, попугать, когда надо, чужаков с Ветлянки, а то везде свои порядки устраивают.

– Эх, – спохватился Шурка, – меня же мама в магазин послала.

– Ну, иди, – деловито сказал Валька, – потом обсудим, как быть.

За воротами, около палисадника, Шурка увидел Димку Чураева. Вывернув оба кармана брюк, он стоял на солнышке, похожий в этой позе на странную птицу.

– Дим, ты чего? – удивился Шурка.

– Да, дурак Антон со своими дружками, я их обыграл: накокал больше десятка, все их крашенки у меня по карманам, а они догнали, когда уходил, и хлопнули по ним, а там – всмятку какие были, одно – яйцо-болтун. Кишмиш устроили, сохну теперь.

Он шмыгнул носом и безбоязненно пообещал:

– Я им казнь придумал. Попомнят у меня!

...Шурка уже купил масло, когда вошли в магазин трое приезжих ребят. В первом он узнал того красивого спортивного чужака, на которого налетел Гнедыш.

– Толик, – обращаясь к нему, сказал тот, что шёл за ним, – давай побыстрее, а то нас тут заловят. По-моему, я одного видел из тех.

– Сейчас «Беломор» купим и поедем. Ладно гиль нести.

Направляясь в книжный магазин, Шурка увидел Генку Афанасьева, в стычке у клуба возглавлявшего нападающих. Тот метнулся в сторону мастерских.

«Засёк, – отметил Шурка. – Что же будет? Этот Генка настырный».

...Когда Шурка вышел из книжного, всё уже свершилось. Генка Афанасьев лежал на весенней земле. Из левого виска сочилась кровь. Он был мёртв.

Стоявшая у пивного киоска Пупчиха, всхлипывая, говорила: – Наши-то, дураки, впятером окружили их и давай воротники на рубахах им рвать, а Толик-то ихний, мне всё слышать из окошка, и говорит: «Что, слабо один на один? Впятером либо всей деревней только смелые, да?». Так, вот, они подёргались и решили по-честному. Один на один. Толик и Афанасьев, значит. Афанасьев первый ударил, да так, что этот самый Толик загнулся крючком весь. А потом вдруг и непонятно мне, как, красавчик этот мотнул рукой – и наш – на карачках, то ли споткнулся, то ли как? В горячках Толик ударил его ногой и попал сапогом прямо в висок. Нет Генки теперь.

Прибежал милиционер Вася Берлин, за ним появились ещё два молодых незнакомых сержанта. Никто из участников стычки и не собирался убежать. Всех потрясла неожиданная смерть.

Толик сидел на пороге магазина, обхватив голову руками. Пальцы рук его вцепились в лихой чёрный чуб.

Пупчиха плакала. Не стирая слёз с красных пухлых щёк, проговорила нараспев, глотая слова:

– Обо-иих ведь жа-ал-ка, оба ду-раки. Одному-у-то всё едина теперича, а эттому Толику вся жизнь, как в про-оо-пасть, а... а... тюрьма...

...Вскоре в Утёвке начали поговаривать, что первый секретарь райкома Бурцев сильно против того, чтобы город нефтяников строили около села. Он опасался и за село, и за Самарку, поэтому вроде бы идут споры. А потом разнеслась новая весть: знаменитый начальник нефтяников Муравленко, которого никто в селе никогда не видел, поддержал Бурцева. Решено город, названный Нефтегорском, строить в степи, около посёлка Ветлянка, далеко от Утёвки.

– Слава тебе, Господи, – отозвалась на это бабка Груня. – Бог миловал!

И перекрестилась.

В Лаптаевом переулке

Только-только Шурка пришёл из школы, хлопнула калитка и вошёл Андрей Плаксин:

– Шурк, в лапту пойдём играть?

– Ага, а кто будет?

– Да Чугунок, Микляй, Валька Беспёрстова, ещё там пацаны наши. Всех соберём, кого надо.

Едва появлялись долгожданные подсыхающие поляны, ребянтню неудержимо тянуло в Лаптаев переулок играть в разные игры.

Хозяев крайнего дома в переулке Климановых давно уже зовут по-уличному – Лаптаевы. Их пятистенник, открытый окошками с резными ставнями на большую поляну, – давний свидетель ребячьих забав. Частенько стайка ребятишек прибывалась к Лаптаеву палисаднику и гомонила там в своих заботах. В такие моменты дядя Коля степенно выходил из дома, неспешно и незлобно кшикал, как на кур, отгоняя их вновь на поляну.

– А я сегодня хотел доделать свою клюшку, – спохватился Шурка.

– Новую чекмару? – спросил Андрей.

Ему больше нравилось такое название клюшки.

– Конечно, вчера с дедом были на Подстёпном, там, знаешь, где большая поляна чилиги, их полно. Я и вырезал две чекмары.

– Вязовые? – деловито переспросил Андрей.

– Нет, из некленника.

– Покажи, а?

Шурка пошёл в сени и вынес полутораметровой длины палку, прихотливо изогнутую снизу. Такая палка и была всегда предметом зависти всякого игрока. Она служила для того, чтобы гонять по траве или по льду шашку – кусок крепкого дерева или другого материала. Часто – консервную банку.

У Андрея загорелись глаза:

– Эх, ты, а я ещё не успел сделать. Давай завтра сходим вместе?

– На, это тебе, – Шурка протянул клюшку Андрею.

– Ты что, Шурк? – выдохнул тот, – да у меня такой сроду не было! Такой удобной чекмары я ни разу не видел ни у кого.

Он ошалело крутил в руках подарок.

– Ты же себе это смастерил?

Шурка молча пошёл вновь в сени и вернулся с палкой, похожей на ту, что отдал приятелю.

– Это будет моя.

Андрей был сражён.

– Эх, ты! – сказал он. Эта короткая фраза вобрала в себя всё: и восхищение, и благодарность, и многое-многое другое, что Андрей, очевидно, чувствовал, но не имел понятия, как всё называть. И зачем ему это знать?

Вот есть друг, есть тёплый весенний воздух, пахнувший талой водой. Подогрета ласковым солнцем земля, кое-где уже пробитая зеленью. И есть ещё после школы целая половина дня. Что ещё надо?

На Андрея напала жажда деятельности.

– Давай всё для чекмары сделаем, а завтра сыграем.

– Давай, – согласился Шурка, – и начнём с шашек.

Шурка сбегал на зады. Принёс крепкий, толщиной в руку, обрубок татарского клёна, и они поперечной пилой отпилили три шашки. Андрей тут же во дворе попробовал шашку и клюшку в деле, погоняв по земле, а затем, с силой запустив шашкой в деревянные ворота. И остался очень довольным. Яркий, с вельможной походкой соседский петух после удара Андрея панически, растеряв всю свою величавость, совсем по-дворовому перескочил через плетень – и был таков.

– Правильно, нечего на чужом дворе делать, совсем задолбил нашего, – подытожил Шурка.

Вооружившись лопатой, они пошли на Лаптаеву поляну. Поляна была уже почти сухая. Только у плетней, у кучи берёзовых брёвен лежал ноздреватый снег, покрытый сверху слоем грязи.

Быстро отыскали ровное местечко. Андрей начал копать котёл – центровую лунку величиной не более обычного ведра. Затем надо было ровно по кругу расположить пять-шесть лунок.

Андрей присел на корточки в котле и, выставив перед собой на вытянутых руках чекмару, скомандовал:

– Крути!

Придерживая конец клюшки, Шурка прошёлся по кругу, оставляя за собой протоптанную дорожку в прогретой майским солнцем земле.

По этой окружности и выкопали лунки размером немного меньше центральной.

Игра состояла в следующем. Игроков должно быть на одного больше, нежели количество лунок, не считая котла. Цель игрока, остающегося после того, как покonaются, без лунки, занять её. Он начинал «маяться»: пытался клюшкой послать шашку в котёл. Если она достигала цели, то игроки обязаны мгновенно меняться местами (конец клюшки-чекмары должен торчать в лунке). При этом захвате мест тот, кто «маялся», мог занять любую лунку, естественно, кто-то оставался без неё и оказывался в роли «мающегося». Сложность в том, что стоявшие по кругу отбивали шашку как можно дальше, не подпуская к котлу, и за ней приходилось бегать. К тому же, ловкий игрок, который «маялся», мог просто, без попадания шашкой в котёл, занять лунку. Это случалось тогда, когда он, лавируя корпусом и ведя шашку к центру, вынуждал одного из игроков замахиваться клюшкой. В это время оставшуюся без хозяина лунку мгновенно занимал сам, ткнув туда свою чекмару.

Андрей, приплясывая, утоптал игровой круг. Взял клюшку, ловко пулънул шашку в котёл и остался доволен:

– Чугунка до слёз замаем завтра!

Шурка представил, как будет «маяться» хитрый, находчивый Чугунок, которого с четвертого класса зовут так потому, что он в тетрадке нарочно, для смеха, написал вместо «чугун» – «чгун», а вместо «кастрюля» – «кастура», и ему стало заранее весело.

«Чугунок ведь не заплачет, а, наоборот, всех насмешит только», – хотел сказать Шурка, но почему-то промолчал. Наверное, оттого, что не хотелось возражать деловому Андрею.

«Под синей юбочкой»

Саман для новой избы решили делать на выгоне, за колхозным общим двором. Дядя Федя Остроухов, копнув лопатой, долго и серьёзно рассматривал серенькие кусочки земли на ладони, а Шуркин дед сказал:

- Чего её изучать-то, вон сколько вокруг изб уж который год стоят. Мерекаешь попусту.
- Оно, конечно, может, и так, но всё-таки... – держал свой фасон Остроухов.

Едва вскрыли круг, приехал верхом на колхозном знакомом мерине дядька Сергей и привёл с собой ещё одну буланую кобылу. Их пустили мять эту большую лепёшку.

Воду возили из Приказного.

На трёх подводах Шурка, Андрей и Валька Рязанов с грохотом порожняком мчались к озеру и лихо въезжали в воду, а там весёлая Аксюта и ещё незнакомая одна девка, войдя по колено в воду прямо в платьях, под июньским ласковым солнцем наливали её в бочки. Перед тем, как выезжать на берег, Шурка накрывал мокрой мешковиной горловину бочки, чтобы вода не плескалась. И каждый раз чудно было глядеть, как в бочке глупо смотрели на него крупные головастики.

А на выгоне своя работа. Как только Шурка подъезжал, мужики, сунув вагу в горловину бочки, разворачивали её и через несколько минут можно было опять мчаться к озеру.

В одну из ездов с Шуркой случилась авария. На самом конце улицы, когда он гнал рысью Карего, около палисадника из-под лавочки ветром выдуло газету, которая, разворачиваясь, поползла к дороге. Шурка стоял сзади бочки, левой рукой держась за отверстие в ней, чтобы она, пустая, не играла на дрожках.

В следующее мгновение, скосив дико правым глазом на газету, большим белым чудищем, похожим на черепаху, двигавшуюся на него, Карий резко прыгнул влево. Шурку вместе с бочкой снесло на землю. Бочка, громыхая, покатила к палисаднику, а Шурка упал рядом со злополучной газетой. Какое-то мгновение был провал в сознании. Когда же вскочил, ног будто не было. Он вновь оказался на земле. «Отнялись», – со страхом пронеслось в голове. Карий стоял метрах в двадцати и смотрел на него. Левая рука лежала на газете. Шурка провёл ею по странице, она выпрямилась и он прочёл: «Волжская коммуна». «Деда всегда её читает», – подумал Ковальский и вяло перевернулся с живота на бок.

А к нему уже бежали люди. Помогли подняться, посадили на лавку. Пока подвели Карего, водружали бочку на дрожки, у Шурки боль прошла. Он встал с лавки, оттолкнулся от ограды и пошёл к повозке.

– Матери скажи, что ушибся, ездов, – сказала вслед хозяйка дома.

– Ладно, – неопределённо отозвался Шурка, погоняя Карего. Въезжая в воду, к ожидавшим его девкам, он уже не думал о случившемся.

Саман смяли и начали выкладывать чуть поодаль на ровном месте. На жести заполняли им большие формовочные станки, уминали ногами. Волоком их тащили в сторону. Затем поднимали, а кирпичи оставляли сохнуть.

...На второй день помочей, вечером, помогавшие гуляли у Любаевых во дворе. Шурку посадили наравне со всеми за стол на лавку, вернее – на доску, положенную концами на табуретки. Мать суетилась с закуской.

Пили «Под синей юбочкой» – так называли денатурат за его цвет. Его жаловали и женщины. Самогонки не было – боялись гнать. Остроухову принесли гармонь, а у Василия Любаева – балалайка. Они сели в торце длинного стола, на виду у всех.

После того, как выпили, заиграли подгорную. Задвигали лавками-досками. Дошла очередь и до Аксюты Васяевой. Она выплыла в круг и неожиданно красивым, сильным голосом озорно пропела:

*Повели меня на суд,
А я вся трясуся.
Присудили сто яиц,
А я не несуся!*

– Вот баба, – восхищённо сказал захмелевший дед Проняй, – кого хочешь в косые лапти обуеет.

– Да, ладно, она, по-моему, ещё не перебабилась, – непонятно возразил его сосед.

Шурка невольно слышит разговор.

– Ловко про яйца, – тянул своё Проняй, – моя тоже ещё только двадцать штук сдала, молока тридцать литров ещё надо отнести. А где брать-то? Дела...

– Где-где, – возразил сосед – дальний родственник Синегубого, – вон Шуркина мать выкручивается, Василий подшивает валенки, а она покупает масло, молоко и сдаёт. От налога куда?.. Шурка, тебе мать когда-нибудь масло мазала на хлеб?

– Нет, – сказал Шурка, – у нас масла не бывает, хлеб с молоком едим.

– Вот видишь, откель масло брать, с моими глазами только валенки и подшивать, – не сдавался Проняй.

Шурка, глядя на пляшущих в кругу, думал: «И почему все люди делятся на русских, украинцев, поляков, турок и других? Нельзя ли так, чтобы все были одинаковой национальности? Все были бы равными. И веселились, как сейчас». Об этом он сказал дядьке Серёже.

– Ага, – подхватил Серёга, – и все одного цвета бы: негры, цыгане, папуасы, англичане – все белые, нет, все чёрненькие, ага? И все на одно лицо. Мировая скукота.

– Да ну тебя, я серьёзно.

Запели «Катюшу». Шурке подумалось, что эта песня про его мать. Только в жизни всё сложнее и тяжелее, чем в этой красивой песне. Для того и песня, чтобы легче жилось.

Шуркина мать, Катерина, когда пели эту песню, никогда не подпевала, всегда только слушала, глядя кротко и ясно перед собой.

...На Шурку навалилась вялость. До этого зазвенело в голове, хотя, разумеется, спиртного не пил. Он встал и пошёл спать к деду в мазанку. Мать только и успела сказать вслед:

– Шура, ночевать приходи домой.

– Ладно, мам.

А Аксюта всё веселилась: «За мной мальчик не гонись – у меня есть другой», – слышался её разудалый говорок.

...Шурка проснулся и сразу понял, что уже поздно: в маленьком оконце света не было. Вспомнил, что обещал ночевать дома и заторопился. В избе деда все уже спали. Со стороны клуба, который находился метрах в двухстах, доносилась музыка. «Раз танцы не кончились, значит двенадцати нет», – определил Шурка. Легонько стукнув калиткой, пошёл по задам – так короче, метров триста. Шурка не прошёл и половину пути, ноги подкосились, как тогда, днём, после падения с дрожек.

Вначале он ничего не понял, сгоряча попытался вскочить, но вновь оказался на пыльной дорожке. Обожгла мысль: «Кто-нибудь поедет и задавит, как кутёнка. Надо отползти в сторону». Отполз ближе к плетню и тогда только ужаснулся: а если это навсегда? Мать умрёт с горя, ей и с отцом нелегко: она его каждый день обувает и брюки помогает надеть. Правда, в последнее время брюки он научился надевать сам: бросает на пол, бадиком подшвыривает штанину на прямую левую ногу, крючком за пояс подтягивает вверх. Правая нога у него действует, как у всех.

«Карий, Карий, какой же ты дурак!» – с горечью подумал Шурка. Под локтем оказалась кучка травы. Он подмял её под себя, стало удобнее. Боли почти не было, жгло ушибленный

локоть, где слезла кожа. И саднило в пояснице, но терпимо. Повернулся на спину. Широко распахнувшись, на него смотрело небо. Звёзды, крупные и мелкие, рассыпавшись во все стороны, светились ясно. Под этим бездонным взглядом он не почувствовал себя маленьким и убогим, а принял чистый тёплый взгляд и удивился тому, как стало вдруг спокойно, а возросшая уверенность в себе уже толкала делать что-то энергичное и нужное.

«Неужели там, над нами, действительно кто-то есть, раз происходит во мне такое, о чём никому не расскажешь?..»

Шурка лежал под открытым небом. Большая Медведица, чудно наклонив свой ковш, висела, как на большом гвозде.

Он почувствовал, как сильно всех любит: маму, бабушку, деда... обоих своих отцов, который есть и которого никогда не видел. Вообще всё вокруг любит...

Замелькали летучие мыши. Пролетела, таинственно прошелестев крыльями, сова.

«Танцы кончатся, ребята направятся домой. Может, кто пойдёт задами и меня заметят».

В куче брёвен, когда он заглянул за большой берёзовый комель, замерцало расплывчатое пятно. «Гнилушки светятся», – отметил про себя Шурка. Он знал, что, как ни катать гнилушку на ладони, в кулаке, она светит, но не греет. Но сейчас ему казалось, что это светлое пятно из гнилушек, так же, как и далёкие звёзды, гонит к нему тёплый и ласковый поток. Шурка ещё больше успокоился. Он вспомнил, как однажды бабушка Груня сказала ему: «Все мы под Богом ходим. За твоей спиной ангел большекрылый. Если будешь стараться делать добрые дела, он тебя не оставит в беде. Он – твоя опора».

Шурка тогда не удивился словам бабушки. Он и вправду иногда очень сильно чувствовал огромную добрую силу, идущую издалека к нему. Чаще всего это случалось, когда оставался один под открытым небом: в поле, в небольшом лесу, на Самарке у воды. Но это шло, как ему казалось, не от неба, это было земное. Сила шла, как он однажды подумал и удивился своей догадке, – от отца Станислава, из его далёкого далёка. Свет поддержки и надежды шёл незримо, но властно и побеждающе. Он так себя заставил думать или это так и было – уже нельзя определить. Но то не был самообман. Может быть, врождённая жажда жизни? Ему сейчас показалось, что этот луч поддержки накрепко соединил его с отцом. «Но ведь земля круглая, значит луч от Варшавы до Утёвки, до меня, должен быть в виде дуги, – подумал он и спохватился. – Почему я думаю так, это же, наверное, бред у меня, теряю сознание. Так ведь не думают».

Музыка прекратилась. Через некоторое время послышались громкие голоса на улице, но все проходили мимо. По задам никто не шёл. Кричать, звать о помощи Шурка стыдился и, перевалившись через левый бок на живот, пополз. Оставалось до дома метров тридцать, когда впереди замелькал слабый огонёк. «Кто-то с фонариком», – догадался Шурка.

– Эй, – негромко позвал он.

Невысокого роста человек остановился.

– Кто там?

Перед Шуркой стоял Мишка Лашманкин, его давний неприятель.

– Коваль, что с тобой? Ты пьяный, что ли? – хохотнул было Мишка.

– С ногами что-то.

Лашманкин подошёл ближе.

– Ты же весь в пыли, ты что?

– Говорю: ноги отнялись.

Мишка перевернул Шурку на спину, взял под мышки и подтянул к плетню.

– Ты как на задах в эту пору оказался? – спросил Шурка.

– Да это, лампочка увеличителя перегорела. Мы с братаном фотки печатаем, ну, я бегал к дядьке, на обратном пути, дай, думаю, срежу. Попробую тебя понести. Вот шалыга какая!

Кое-как приподняв Шурку у плетня, он подлез под него и, взвалив на спину, покачиваясь, понёс.

- Давай в наш сарай, – попросил Шурка.
- Ты что? Мать заругает тебя?
- Нет, – проговорил Шурка, – она думает, что я у деда.
- А может, в больницу?
- Не надо, днём так же было. Потом отпустило. Это от падения. Отосплюсь – всё пройдёт.
- Эх ты, а вдруг нет? – засомневался Мишка.
- Давай в сарай!

Когда Шурка улёгся на спину на кучке свежей травы, он сказал:

– Мать встанет корову сгонять в стадо в четыре утра, она меня и обнаружит. Если всё нормально, то – порядок. Если не обнаружит, придёшь в шесть часов ко мне. Проснёшься?

– Проснусь, – заверил Мишка.

Шурка спал глубоко, без сновидений и проснулся в восемь часов. Едва открыл глаза, увидел Мишку сидящим около на старом тазике.

– Ты чего сидишь?

– Будить тебя жалко.

Шурка поднялся и, как будто ничего не было, спокойно прошёлся.

– Молодец, – обрадовался Мишка, – а то я вчера испугался.

– Я – тоже, – признался Шурка.

У Лопушного озера

– Завтра Жданку не гоняй в стадо, – сказал вечером Катерине Василий, – поедем в Угол косить траву.

– Ладно, – покорно согласилась мать.

Она уже поняла: спорить бесполезно. Прошёл месяц после того, первого разговора, когда было решено делать упряжь для коровы. И вот всё готово: лёгонькая рыдванка с железными колесами, с проволочными реденькими рёбрами вместо деревянных стоит посреди двора. Готова и шорка вместо хомута, лёгкая оброть и всё остальное.

Отец вывел с денника Жданку и стал подводить к рыдвану. Корова долго не понимала, чего от неё хотят. Смотрела своими большими тёмными красивыми глазами и недоумевала.

Наконец-то шорка – на шее, тонкая самодельная верёвка вместо вожжей, привязана.

– Ну-ка, Шурка, отворяй ворота.

И уж было совсем всё пошло, как надо, да мать Шурки немного подпортила момент:

– Вась, а если обидится и перестанет молоко давать?

– А куда она денется?

– Ну, пропадёт молоко, так бывает!

– Опять ты за своё!

Катерина отошла в сторону. Потом вновь приблизилась и виновато попросила:

– Вась, ты на неё не кричи, если что не так.

– Катя, я ж обещал тебе, – отец повёл Жданку со двора.

Он явно бодрился.

Рыдванка на удивление пошла ходко. Выезд на улицу был под горку. Лицо Василия светилося радостной улыбкой. Смазанные обильно дёгтем новенькие оси и колёса хотя и поскрипывали, но как-то в лад и бодро. Шурка немного успокоился и за Жданку, и за мать.

У ворот отец положил в рыдванку старую фуфайку, чтобы можно было лежать, привязал косу и они отправились в путь. Лагунок с дёгтем, как маятник, закачался на задке рыдвана. Договорились, что садиться никто не будет, только отец, когда совсем устанет, ляжет в рыдван – сидеть ему никак нельзя.

Мать даже сумку с едой не положила:

– Вась, сама понесу, ей-богу, не тяжело.

Шурка приготовился подталкивать повозку сзади так, чтобы не увидел отец.

Он знал дорогу на Лопушное до каждого поворота, до каждой кочки. Шагая за повозкой, Шурка пояснял:

– Мам, нам надо проехать туда почти три километра. Не бойся – половина дороги жёсткая и под уклон, и только у старицы начнётся песок.

– Я и не боюсь.

– А можно не по дороге, не по песку ехать, а по траве, вдоль, – говорил Шурка.

– Так и сделаем, но я опасюсь другого.

– Чего, мам?

– Корова страшно боится шершней. Слепни ещё так-сяк, а шершни... С ней сразу могут случиться бызыки, бзик. Что тогда делать? Бздырит, не остановишь.

– А что? – не поняв, переспросил Шурка.

– Может либо рыдванку с отцом разнести, либо себе что поломать.

...Повозка двигалась медленно, отцу было трудно идти, но он не ложился. Прямая нога его почти волочилась. А Шурка шёл легко. На босых ногах – сандайки, которые ему сделал дед прямо при нём три дня назад. Он взял Шуркину ногу, приставил к ступне колодку, померил и тут же сапожным ножом на пороге вырезал из куска толстой кожи две подошвы.

По шаблону выкроил верх из кожи потоньше и прошил сыромятным узким ремешком. Получилась жёлтая ровная окантовка. Потом пошарил в своём удивительном ящике, где всегда находилось всё, что нужно, и извлёк оттуда, как волшебник, две красивые металлические застёжки.

– Тебе берёг, нравятся?

– Конечно, лучше не бывает, – радовался Шурка.

Дед хотел ещё натереть сандайки ваксой, но Шурка отказался: «Потом, деда!». Обувка получилась лёгкая, мягкая, и теперь, шагая по нагретой летним солнцем дороге, увязая по щиколотки в горячей серой пыли, он не знал забот. Дедовыми умными руками вверху сандалий и по бокам были сделаны дырочки и пыль не задерживалась в них.

За мостом съехали благополучно с горы. Отец лёг в рыдван. На удивление, Жданка не воспротивилась. Только вначале не поняла, как идти: Василий стал управлять вожжами.

Мать, взяв за оброть, всё поправила и пошла рядом.

Шурка шёл сзади один. Они приблизились к Самарке, и песчаная дорога утяжелила ход повозки. Металлические колёса, за которыми ревностно следил Шурка, когда рыдван съезжал с обочины на песок, вязли. Шурка, упираясь в заднюю стойку, что есть мочи толкал повозку.

Остро пахло прокалённым солнцем песком, в воздухе, казалось, не было ни единого движения, которое хоть как-нибудь пригнало бы прохладу. И только знакомые осины, стоявшие на обочине, шевелили чуткими листочками.

Шурка знал, что надо потерпеть: ещё один поворот – и дорога изменится. Это случится сразу за сухим вязом, в дупле которого обитает, об этом знает только Шурка, угод, а по-простому – петушок. Такой смешной, забавный и неторопливый лесной житель. А напротив вяза, на полянке – большой ровный круг зарослей шиповника. Здесь Шурка иногда прячет всякую всячину, чтобы лишний раз не таскать домой: удочки, банки с червями, весло. Никому и в голову не придёт лезть в такую чащобу.

...Наконец-то дорога нырнула в заросли черёмухи, крушины и нектенника. Стало прохладно. Недалеко было Лопушное. В который раз остановились на отдых, и тут же Шурка острым ножичком срезал прямо у дороги полуметровый пустотелый зелёный стебель и сделал из этой быстылины дудку. Раза два со свистом дунув в неё, разудало заиграл, переваливаясь с ноги на ногу. А Шуркина мама, весело выскочив на поляночку, пошла в пляс, припевая:

*Дударь мой, дударь молодой!
Самодударь мой, дударь молодой!*

Её маленькие загорелые и ловкие ноги, обутые в чувяки, задорно мелькали в ромашковом и васильковом разнотравье придорожной полянки. И вся она, в косыночке с голубыми горошками, стала вдруг весёлой и озорной. Шурке тоже стало радостно, и оттого он заиграл ещё азартнее и громче.

Когда кончил, отец одобрительно спросил:

– Где так научился выкомаривать?

– Дед его подучил, – сказала мать.

Жданка тем временем не плошала и, увидев сочную густую траву в кустах, дёрнулась туда. Рыдванка встала поперёк дороги, передними колёсами подмяв кустики бересклета.

– Но... балуй у меня, – совсем как на лошадь, грозно шумнул отец, но, спохватившись, вылез через проволочные боковины из рыдвана и вывел Жданку на дорогу.

Лесные дороги там, где ходит гужевого транспорта, особые. как бы в три колеи. Две колеи от колёс и тропа меж ними от лошадиных копыт.

Запах лесных дорог особый. Меж колеями изумрудная зелень не теряет своей свежести и яркости всё лето. Под нависшими низко ветвями ей благодатно. Влажность, исходящая от озера, питает буйство и разнообразие трав по обочинам дороги. На самой дороге обычно растёт самоотверженный подорожник. Шуркина мать называет его семижилником, и Шурка несколько раз уже пользовался им, прикладывая к ранкам или опухолям.

Из двух десятков озёр, которые он знает, Лопушное одно из самых интересных. Ни на Лещевом, ни в Подстёпном, ни на Осиновом нет того, что есть здесь. Тут с Шуркой всегда что-нибудь происходит.

В дальнем заросшем конце впервые позапрошлым летом подстрелил он крякву. А на подходе к озеру среди черёмухи растёт единственная на этом берегу Самарки берёза. И никто никогда – ни взрослые, ни мальчишки – не брали сок у неё, настолько она дорога всем. Однажды они с дедом вдоль озера набрали целую телегу груздей, и на обратном пути негде было сидеть в ней. Шли пешком.

...Когда добрались до Лопушного и отец начал распрягать Жданку, подошедшая помогать Катерина ахнула:

– Васенька, что же это делается, а?

Шурка увидел, как из передних сосков Жданки, словно из неплотного рукомойника, стекало большими каплями молоко.

– Ты её доила утром? – спросил тусклым голосом отец.

– А как же, доила, – поспешно ответила мать. – А если она надорвалась?

– Надо подоить ещё, – будто не слыша, сказал отец, – а ты, Шурка, сготовь костёр, сварим молочный суп с лапшой. Вот вам задание. Я пойду траву попробую посшибаю.

Шурка взял топорик и пошёл высматривать рогульки для костра. Вскоре зазвучали за его спиной непривычные такие в лесу удары молочных струй о гулкое дно ведра. И он услышал, как мать сквозь слёзы почти запричитала:

– Миленькая ты наша кормилица, прости нас...

За старицей

Много всего надо для строительства дома. После самана брёвна для тёса необходимы в первую очередь. В этом году Любаевым повезло: по ордеру сельсовета сено должны были косить в лесу. Кварталы достались тощие, трава – никудышная. Однако сенокос оказался неда-

леко от делянок, отведённых под вырубку осин и осокорей. Можно работать на два фронта. Так и сделали: попеременно то косили, то пилили. Кто как мог.

Рассортировали калек и – за работу. Венька Сухов без руки, так ему, например, проще пилить, чем косить. Он и пилит. А вот у дядя Коли Тумбы нет левой ноги почти совсем, он и косит, и пилит.

Любаев разводит и точит пилы. И потихоньку пробует косу, насаженную на черенок так, чтобы можно было работать, совсем не нагибаясь. Шурка видел, как отец пробовал косить за кустами, ближе к воде. Размеренные, выверенные движения Василия, волочившего за собой ногу при совершенно прямой спине и прерывистое перемещение его вдоль валка напоминали действие какой-то машины. Но эта кажущаяся надёжность могла враз рухнуть, если не соблюдать равновесие и равномерность перемещения.

Валить громадные осокори тоже надо уметь.

– Ты сначала определяй, куда дерево глядит, куда наклонено, – учит Венька Шурку. – Как определил, пили с той стороны, куда глядит, на глубину полотна пилы. А затем уж заходи с противоположной – на четверть выше снова пили. Само упадёт куда задумано.

– А если дерево не «глядит» и нужно чуть в сторону свалить его? – уточнял Шурка.

– Тогда берёшь топор и, как сделаешь первый надпил, сразу руби, чтоб не было зажима – можно руками или вагами толкать, куда надо.

– Берегись! – зычно крикнул Тумба. И осокорь, могучий и красивый, сокрушая молодняк, не теряя величавости и осанки, повалился на траву. Земля вздрогнула, когда он упал. На поляне стало светлее.

– Молодец, Тумба! Удачно положил! – обрадовался Шурка.

– Прошлом лето вот так же валили и один рухнул на сухостой – приличную осину, а она возьми да и упади, где бабёнки кружком стояли. Одну из них, Таню Чемоданову, будто выбрала – скончалась на месте, – сказал Веня.

Первый осокорь, который подпилили Венька с Шуркой, падать вначале не хотел. Он чуть повернулся слева направо в комле, зажав пилу так, что Шурка с большим трудом, торопясь, выхватил полотно и замер.

– Ко мне! – властно скомандовал Веня и привлёк его к себе. – Надо в сторону уходить, а то сыграет и комлем долбанёт.

Вагами мужики помогли великану. Он рухнул, обломав при ударе о землю толстые сучья. Накрыв большой муравейник.

Объявили перерыв. Шурка сладил удочку. Крючки у него всегда были с собой в фуражке, а леску захватил специально. Только пристроил удочку на рогульке, у коряжки, как поплавок – в мизинец сухая куга – медленно пошёл под воду. Шурка привычно дёрнул: на крючке болтался величиной в ладошку карась. Забросил вновь – то же самое. После пятого карасика насадки – безголового слепня – не стало.

– Сейчас я тебе добуду насадку, – сказал подошедший Венька. – Дай картуз!

Пока Шурка ловил слепня, пришёл Венька и протянул фуражку:

– Попробуй на муравьиные личинки.

Шурка попробовал: такая же поклёвка – и как отмеренный, в ладошку, карасик затрепыхался на траве.

– Тут кто-то хорошо приманивает, – догадался Шурка, – нормальная рыбалка.

– Это разве рыбалка... вот в Сибири – это да! – отозвался Венька.

– А откуда ты знаешь?

– Дядька мой пишет.

– Он в Сибири?

– Да, с сорок первого года. Теперь уже давно освободился.

– Сидел?

– Да. Теперь женился, там и живёт.

– А за что сидел? – допытывался Шурка, вспомнив, как Жабин забрался в дом к Пупчихе.

– Ерунда, в поле, когда со стана шёл, снял с трактора магнето – поковыряться для интереса. Оно ему и не нужно было. По дурости.

– Ничего себе!

Много всякого увидел и узнал Шурка на делянках. Поразил один разговор, который он нечаянно услышал. По разным причинам не все уходили ночевать в село. Многие оставались. Спали в шалашах из веток и травы, под огромной, толщиной в четыре Шуркиных обхвата, ветлой. В один из вечеров Шурка пошёл в дальний конец озера посмотреть на уток, слетевшихся туда на зорьке. Ему нравилось за ними наблюдать. Уток почему-то не было, и он решил подождать, присев метрах в пяти от берега у небольшой копны.

Солнце уже опустилось ниже могучих вязов, росших на той стороне, близко у воды. Его лучи, пробиваясь сквозь листву, освещали задумчивую гладь озера, Шурку вместе с копной и весь берег, томно и разнеженно притихший после жаркого дня. Противоположный берег и гладь воды там, под вязами, были сумрачны и таинственны.

Слева от Шурки слышались шаги, а потом и голоса. Он узнал говоривших: Аксюта Васяева и Ганя Лужкова! Выглянул было и обомлел: они раздевались, намереваясь, очевидно, купаться.

– Ох, и красивая ты, Ганя, внаготку, – сказала восхищённо Аксюта.

– Красивая-то красивая... – задумчиво ответила Ганя. – Красота меня и ухоркала.

– Как так? – удивилась Аксюта.

Шурка вновь выглянул и поразился: на берегу стояли две совершенно голые молодые женщины. У него странно закружилась голова.

Молодая пышущая здоровьем Аксюта стояла ближе к Шурке. Белое её тело, освещённое закатным солнцем, вызывало невольный восторг. Казалось, каждая рыжая волосинка на нём обласкана вечерним светом. Груды её, круглые и большие, вмиг начали исполнять какие-то свои замысловатые движения, когда она, подняв руки к небу, дурачась, встряхнулась и заиграла кистями рук.

– Как может красота ухоркать? – переспросила она, семеня на одном месте ногами.

Ганю всю теперь Шурка не видел. Её закрывала мощным корпусом Аксюта, но он отметил, как разительно они отличаются друг от друга. У Гани узенькие плечи и крепкие, шире плеч, округлые бёдра. Смуглая кожа делала её похожей на статую богини. Нездешняя красота Гани была таинственна и холодновата.

– Может, – отозвалась Ганя. – У меня жених уже намечался, и вдруг Николай появился. Инструктором райкома партии начал у нас работать, а я – секретарем райкома комсомола. Красивый был, ладный такой. Ухажёров у меня было! Он всех отбил.

Ганя вошла по грудь в воду и, ойкнув, притихла.

Шурка прижался к копне, боясь, что его заметят. Не знал, как лучше поступить: встать и уйти, тогда его увидят, или остаться? Разговор продолжался.

– Я и раньше отмечала: странно ходит как-то, легко и в то же время на левую ногу припадает. Но ничего не говорил, скрывал до времени. Оказалось, ранение у него было, в колено. Потом началось... Отрезали ногу чуть не всю. И закатилось моё счастье-то. Жена инвалида. Он ещё и запил потом.

– А мне хоть хроменького, но молоденького бы муженька, – вздохнула Аксюта.

– У тебя всё впереди.

– Ага, – с готовностью вроде бы согласилась Аксюта. А потом добавила: – А позади-то уже чуть не тридцать годков.

– Угробила я сама себя, за него вышла. Как помутилась голова. Какие вокруг меня парнины были! Дура я, – продолжала Ганя.

– Что ты говоришь, – ахнула Аксюта, – разве можно так? Он тебя любит?

– А куда ему деваться-то с культей, – зло сказала Ганя и саженками, по-мужски, поплыла на середину озера.

Аксюта сложила рупором ладони и прокричала как бы украдкой (боялась, наверное, что их кто-нибудь обнаружит голыми), как мальчишка, обращаясь к кому-то на противоположном берегу:

– Кто украл хомуты?

И эхо тут же ответило:

– Ты, ты, ты...

Аксюта хихикнула довольно и не спеша пошла к воде.

Вечерние лучи солнца ласкали её крупное тело. И казалось, что это большая домашняя птица или огромный жаворонок, один из тех, что они лепили с мамой из белотурошной муки весной, сейчас взмахнёт руками-крыльями и попробует взлететь. На плечи её упали золотистые волосы, а там, в самом низу живота, у Аксюты огоньком горел небольшой островок растительности.

«Разве такое бывает? – удивился Шурка, – рыжая везде вся!»

Его ошеломила красота и притягательность обнажённых женских тел. Такого с ним ещё не было. С Аксютой и Ганей встречался в день по несколько раз, но там они были в одежде, все в хлопотах. Здесь, оголившись, вдруг обнажили перед Шуркой целую бездну ощущений. Он то проваливался куда-то, то вдруг видел, как органично они дополняли собой всё вокруг, и начал недоумевать: как могла природа ещё каких-то пять минут назад обходиться без них. То совершенно понятных и земных существ, то вдруг непостижимых, обескураживающих, заставляющих тихо сидеть, окунувшись лицом в тёплый парной воздух над вечерней озёрной с мраморными лилиями водой.

Греховных мыслей не было. Их просто не могло ещё быть.

...Аксюта тем временем зашла чуть выше колен в воду и со смехом плюхнулась, подняв крупные брызги. «Не перебабилась ещё», – вспомнил он загадочное для него слово, которое услышал за столом после помочей.

Шурка встал и, не скрываясь, пошёл на стан. «Моя мама другая, у неё язык не повернётся так об отце моём Василии сказать, как красивая Ганя. Даже подумать не сможет», – для чего-то убеждал он себя.

Два Василия

– На-ка вот... Варька-почтальониha опять обмишурилась.

Шурка берёт в руки серый с пятнами конверт. Вслух читает: село Утёвка, Василию Фёдоровичу Любаеву.

– Это нам, мам, всё-таки!

– Да нет, грамотей, там указана улица Садовая. Пойдёшь за хлебом в магазин – занесёшь.

– Ладно.

Василий Фёдорович, который живёт на Садовой, и его полный тёзка – Шуркин отец, живущий на Центральной, – родные братья. Оттого и путаница.

В гражданскую, когда молодой ещё дядька Василий воевал у Чапаева, ранило его в лёгкое. Помирать приехал домой к матери своей Прасковье. Плохой был, и все решили, что уже не жилец на этом свете. А тут у Прасковьи и Фёдора родился ещё сын, решили его назвать Василием – в память о старшем, умирающем. Но он выжил. Выжил и младший. Так у Любаевых стало два Василия. Отец Фёдор, поехав в Уральск за солью, умер в степи.

Когда Шурка пришёл с письмом, хозяин дома сидел на пороге у сеней и разбирал мокрую рыбацкую сетку. Сын Сергей тесал срубовину посредине двора. Щепки, освещённые майским

ласковым солнцем, излучая тёплый свет, отлетали в сторону гостя. Одна щепка упала лодочкой к Шуркиным ногам. Как утица, закачалась сбоку набок и затихла. Коричневенький сучочек, как глаз, уставился на Шурку внимательно и таинственно.

– Гость пришёл! – зорко глянув на Шурку, крикнул дядя Василий. – Мать, давай нам аряны.

Вышла тётка Машурка с бидончиком кислого молока, разведённого холодной водой, который у неё летом всегда стоял в тёмных сенцах.

– Держи, – она вручила Шурке пол-литровую белую кружку с помятым краем и, помешав в бидончике большой деревянной ложкой, налила.

Шустрая оса села на край бидона, Шурка замахнулся.

– Не тронь, улетит. Незлые они сейчас, – сказал дядька Василий. Принял посудину из рук жены и аппетитно заработал кадыком.

– Ну, придудонился... Так нельзя, Вась, горло перехватит.

– Ничего, мать, не бойся, хороша больно, – он ответил не сразу, а после того, как напился и поставил подчёркнуто деловито бидончик на траву около своих ног.

– Лепота-то какая, а?!

– А что это такое, дядя Вася? – спросил Шурка.

– Что?

– Ну – лепота?

– Красотища, значит, что же ещё? Непонятно, что ли? Чему вас только в школе учат, аль сам не чувствуешь?

– А почему обязательно сруб колодезный делают из ветлы? – перевёл Шурка разговор в деловое русло.

– Не обязательно, – возразил дядька Василий, – желательнее из ветлы. Видишь ли, берёза в земле не лежит. Осина даёт горький привкус воде. Ветла и в земле лежит долго, и воды не портит, и вкус от неё лучше.

– А сруб куда?

– Как – куда? Вам.

– Нам?

– Ну да. Брательник сказал: колодец в огороде будет делать.

– Вот здорово! – обрадовался Шурка.

Он смотрел на щуплую фигуру хозяина двора, на его прокуренные усы, неровные плечи, дырявые галоши на босу ногу и ему не верилось, что перед ним участник героических дел.

– Дядя Вася, а какой был Чапаев?

– Обнаковенный, какой... – сказал тот с ходу.

– Ну, не может так быть!

– Заряжённый был, понимаешь, – спохватился Василий, – заряд в нём большой сидел, крупного калибра. Пороху больше, чем у остальных, в нём обнаружилось. Везде хотел быть главным, начальство сверху не любил.

– А сильный был?

– Были здоровее мужики. – Помолчал, потом добавил: – Страху не ведал, али жизнь не ценил свою, а значит и чужие, не знаю. Сразу не скажешь о нём точно. Я в артиллерии служил. Нечасто его видел, но знал. В артиллерии попроще. А вот в кавалерии, брат, цельная наука. Жестокая наука.

– Почему – жестокая?

– Конь обучен должен быть специально для кавалерийской атаки. Мой дружок Арсений из Осинок толк знал в этом деле. Рубака был зверский. Но и он не сразу привык к резне.

– Разве бой – это резня?

– Надо уметь шашкой работать. Если казару развалить от ключицы до пояса – это одно, а если шашкой рубануть по голове – другое... Мозги ажник с кровью вылетают с такой силой, что вся рука от кисти до плеча ими замазана. Арсений попервоначалу есть не мог после рубки несколько часов, а потом пообвыкся: даже руки не мыл – садился и за кусок хлеба. Все вперемежку: и кровь, и хлеб.

Шурка стоял, прислонившись к завалинке, ошеломлённый.

– Так было?

– А как иначе? Степи, дожди, смерть, вши, слякоть – это тебе не кино показать. Война – это пакость одна!

– А герои как же?

– Какие?

– Ну, в книгах, в кино опять?

Дядька Василий посмотрел на Шурку, непонятно улыбнулся, как бы сам себе. Ответил тоже вроде бы сам себе:

– Я про жизнь, а не про кино.

– Дядя Вася, а где тебя ранило?

– Чудно ранило. Шальная навроде пуля, когда брали Белебей, в общей колготне. Когда Арсений привёз меня в Утёвку, почти загибался. Но я жив, а он где-то в уральских степях лежит.

– И всё?

– А что ещё? Разыскал я семью Арсения чуть попозже. Беднота, она и есть беднота. Смотреть было больно. Ну, ладно об этом балакать. Одна надежда на вас, вы у нас вырастете грамотными – глядишь, вылезем из грязи...

Возвращаясь из магазина с двумя буханками хлеба в сумке из кирзы, Шурка думал о последних словах дядьки Василия.

Сколько он себя помнил, всегда окружающие говорили: «Учитесь, а то всю жизнь, как мы, в грязи провозитесь...». Это стало каким-то всеобщим девизом и в школе, и дома. Будто всё Шуркино село wraz с его поколением заразилось идеей вырваться из привычной жизни. Прорваться на другой её уровень: грамотный, чистый, достойный. Но, когда он начинал вспоминать, сколько сильных красивых ребят, выучившись в школе, ушли в город и не возвратились, его охватывала досада. Для образованных, способных людей, получается, настоящая жизнь на стороне, не в селе. Из него надо было убежать и не вернуться. И это поощрялось родителями в открытую. Тогда как же с домом? С колодцем, со всем, что делается в селе? Для кого это? Всё временно выходит, не навсегда? За что же воевали дядька Василий, Арсений?

Шурка чувствовал в себе огромную жажду учиться, безудержно влекло к театру, литературе. Росло понимание, что должна где-то быть жизнь без пьянства, матюгов, непролазной грязи на улице. Убогость быта уже начала осознаваться, но она наталкивалась внутри Шурки на крепкую силу, название которой было пока ему недоступно. Но жила в ней, несомненно, обида и горечь за окружающее, кровное и родное, державшее так цепко в своих объятиях, что порой доходило до физического ощущения близости, кровной связи со всем, что дышит вокруг, говорит, поёт, молчит, глядя большими глазами озёр снизу, а сверху – бездонным летним небом, усыпанным пригоршнями хрустальных звёзд, покойно внимающих с высоты.

Он часто видел себя как бы со стороны в ватажке ребят, у рыбацкого костра на Самарке, то с восхищением, то с досадой наблюдающих в ночи за вдруг ворвавшимся в ночное небо над головой реактивным самолётом – ещё одним зримым доказательством того, что есть какая-то иная, с заботами, не похожими на сельские, жизнь. Пугающая и в то же время странно манящая. Где-то в Шурке, ввне ли его, он это чувствовал, работала неодолимо другая сила, близившая неминуемо прощание его со всем родным и близким. Было от этого тревожно и больно.

Сухопутный пушкарь

На сенокосе всегда что-нибудь происходит. Два года назад убило бастрыком Федыку – старшего сына Петянихи. Они перевозили с Митягой сено на полуторке. Оставалась последняя ездка. В рытвине на ухабах заднее колесо попало в глубокую сырую яму, мотор заглох. Митяга и Федыка стали помогать как могли – совали сено, бурьян в колею. Мотор натужно упирался. Когда грузовик выскочил на твердь, весь воз с сеном тряхануло так, что схваченный верёвками бастрык не выдержал и лопнул посередине, выстрелив взад и вперёд двумя осиновыми обломками. Стоявший сзади Федыка получил удар по голове и скончался тут же.

Об этом забыли уже. Или просто молчат. Прошлым летом сенокосный стан разбили на том же месте, где косили с Федей и где они с Шуркой часто вечером после изнуряющего жаркого дня около плёса сидели на вечерней зорьке на чирков... Шурка помнил прошлогодний сенокос, как будто это было вчера: у костра что-то смешное рассказывал дядька Серёжа из своей армейской жизни. Шурка лежал около припасённой дедом для него чашки. Когда дед снимал ведро с готовой «польской» сливной кашей, Шурка вскочил, намереваясь расправить завернувшийся угол одеяла, служившего скатертью, и, неловко повернувшись, угодил прямо под ведро. Оно в руках Ивана Дмитриевича сильно качнулось и жидкая часть варева выплеснулась. Одурачивающая боль обожгла спину. Дед снял с внука рубаху и теперь Шурка лежал на животе полуголый. Крепился, хотя волдырь чуть ли не во всю спину.

И начались непривычные хлопоты. Дед по несколько раз в день смазывал спину подсолнечным маслом. Подсолнечное масло – лекарство. Бутылку с ним Иван Дмитриевич отложил под рыдван, около логунка с дётгем, строго-настрога запретив использовать масло для еды.

– Хотя бы сам ел масло, а то как верблюд – в свой горб, то бишь в волдырь откладывает, – выражает своё недовольство дядька Серёга.

– И как обидно! Ему ведь тоже в рот не попадает, через кожу приходится впитывать – никакого удовольствия, – вторит дядька Лёша.

Шурка с мольбой смотрит на деда. Остряки умолкают. Но чуть позже, растянувшись после еды на разнотравье, дядька Серёжа тянул:

– А знаете, если бы мне такой волдырь, я бы держался на воде как бог. Такой пузырь как спасательный круг! Красно-ти-ща!

– Врите больше, – отмахивался Шурка.

Однако ему обидно, что самому нельзя посмотреть, какой величины волдырь. Ведь намного же легче плавать с накачанной камерой? Может, завтра попробовать? Его отрезвил голос деда:

– Шурка, ты уже большой. Неужели всерьёз слушаешь этих шалопаев? Не смей вообще купаться! Заразу занесёшь – беда будет.

– Правильно, Шурка, не плавай, живи сухопутным пушкарём, – вставляет своё дядька Серёга.

– Кем? Каким пушкарём? – спрашивает потерпевший.

– Сухопутным, что непонятного-то?

– А что это такое? – удивился Шурка.

– Читать больше надо, – поучал Сергей.

– И плавать, – дополнил дядька Лёня.

– Да ну вас...

– Что на вас нашло, какая муха укусила? – Иван Дмитриевич сердито смотрит на сыновей. – Он больше вас обоих читает. Я уже давно за глаза его боюсь. «Тихий Дон» проглотил за две недели.

Шурка благодарен деду. Ему очень не хочется, чтобы эта кличка прилепилась к нему. Зовут же Женьку Чугунова «пожарником» с того дня, когда он в тесно набитом клубе, забравшись на лестницу у стены (негде было стоять) во время фильма «Тарзан», свалил нечаянно висевший огнетушитель и тот, сработав, стал поливать ближние ряды зрителей. Под истошный бабий крик: «Пожар!» – в темноте зала началась невыразимая давка. Напрасно завклубом успокаивал и призывал не паниковать. Могучей волной он был сметён и вынесен из зала, который вмиг опустел. Только через некоторое время, когда выяснилась причина, зрители, нервно похохатывая, пошли досматривать кино. Но Генка с тех пор так и стал с чьей-то лёгкой руки «пожарником». Хоть застрелись!

У Кунаева ключа

Шуркины приятели заболели игрой в лянду. Вырезали из овчины кусок в виде пятака и пришили к нему плоскую круглую свинчатку. Если у этого пятака шерсть длинная – лучше лянды нет. Играть просто: надо подбросить лянду и, стоя на одной ноге, другой, обутой в валенок, бить по оперённой овечьей шерстью свинчатке. Ей положено летать: вверх-вниз, вниз-вверх. Задача: набрать наибольшее число ударов.

У Мишки получалось до двадцати. Он – чемпион улицы.

На прошлой неделе, когда играли вечером у Лашманкиных, Мишка попросил Шурку показать, как рыбачат на подуста:

– Мне просто интересно, наши никто не умеют с лодки, а у тебя наука от Головачёвых. Про дядьку твоего Алексея, знаешь, как говорят?

– Нет.

– Толкуют, что он рыбу в колодце, если надо, наловит.

... Три дня назад они пригнали из-под Платова, с Коровьих ям, плоскодонку. Её оставил там дядька Алексей, когда в последний раз рыбачил. Приковали её цепью чуть выше Ледянки.

И вот настало утро, когда они отправились на рыбалку. До Самарки добрались вовремя, было ещё только четыре часа. Остро пахло прохладным песком и мокрыми лопухами. Не торопясь, Шурка откопал из песка весло и два осиновых кола, которые он заранее припас. На реке – никого. Это понравилось. Было ещё темновато, но Шурка знал, как быстро светает, и поэтому торопился; надо вовремя определить место.

– Ну, что, Миш, давай с этой стороны, на перекате встанем?

– А может, с той, под обрывом? Там спокойнее, – предложил приятель.

– Нет, там мелкая плотва замучает, нам подуст нужен, верно? На перекате наверняка будет.

– Ага, – охотно согласился Мишка.

На быстрой воде кол для перетяга поставит не каждый, Шурка всё исполнил молча сам. Мишка только смотрел.

Направив лодку носом строго против течения, Шурка быстро опустил кол и, нащупав им песчаное дно, упирая, стал расшатывать его из стороны в сторону. Течение успело повернуть нос лодки поперёк реки, но кол уже засосало.

Скупые и размеренные движения Ковальского Мишка оценил. Смотрел зорко – учился.

То же проделал Шурка и со вторым колом. Привязать бечеву между кольями и установить лодку ровно поперёк реки, чтобы удобнее было пускать поплавки, уже проще.

– Миш, ты где сядешь, на носу или на лавке?

– На лавке лучше!

– Верно! На носу без конца будешь греметь цепью, а подуст очень пугливый, ведь глубина всего метра полтора, – согласился Шурка. – На, разматывай удочки, а я быстренько разберусь с приманным мешочком.

Мишка с готовностью подчинился. Ковальский ловко намочил отруби прямо на дне лодки, скупно поливая из консервной банки воду, чтобы не разводить лишней грязи. Набил вязаный в мелкую ячею приманный мешочек. Когда опускал за борт, на дно, муть от отрубей белым ручейком пошла от плоскодонки по течению. Это Шурке понравилось.

Светало, но солнечных лучей пока не было. Их скрывал большой лес с правой стороны, на круче.

– Всё, Мишка, теперь вот мерником, – он протянул гайку с петелькой из ниток, – точно надо замерить дно, выставить поплавки – и всё. Только тихо, грузилом по лодке не стучать – распугаешь рыбу.

Насадив дождевого червя, Шурка левой рукой неслышно опустил грузило в воду, чуть левее бечёвки, на которой привязан приманный мешочек. Поплавок, на миг задержавшись под бортом лодки, пошёл быстро по течению.

У Мишки клюнуло, едва его поплавок достиг половины пути, отпущенного длиной лески. Он дёрнул прямо на себя: подуст, вылетевший из воды, ударился о борт и сорвался. На крючке осталась часть губы.

– Ты не так дёргай, Мишка, – проговорил вполголоса Шурка. – А то всем губы тут пообрываешь, сейчас крупнее пойдёт.

– А как?

– Вначале, когда поплавок в воде, дёргай нормально, а потом сразу вбок веди, когда зацепил. По воде подтаскивай к борту, потом левой рукой, около грузила, хватай леску – и в лодку.

Сноровистый Мишка всё понял. Вскоре у его ног лежали три подуста, каждый с карандаш длиной.

– Шурк, а верно, подуст похож больше всего на голавля, только будто кто ему каким молоточком в морду дал. У него губа ровно от этого сплющилась, а?

Шуркин поплавок бодро ушёл под воду. Он дёрнул и в его руке притих серебристый подуст.

– Твой крупнее, – позавидовал Мишка.

– Сейчас пойдут, как отмеренные, ровные. Хорошо сели мы с тобой. Бросай ближе к приманке.

В азарте рыбаки и не заметили, как дно лодки покрылось белью. Лучи солнца пробились через тёмный лес, но под кручей ещё была прохлада.

Было тихо и покойно вокруг. Лишь кукушка в осиннике на левом берегу, два раза перелетев с места на место, напомнила о себе. Тишину нарушил сразу и на всю Самарку Семён Топорков. Он внезапно появился с удочкой на левом берегу, чуть ниже рыбаков, и начал быстро раздеваться. Видно было, что намеревается перебраться на другой берег и там порыбачить. Он – язятник.

Раздевшись догола, Семен вошёл в воду по пояс и сразу окунулся с головой. Когда вынырнул, крикнул так, что раздалось на всю полусонную округу. Держа в левой руке одежду над головой, он поплыл.

– Ох, ох, хороша, ну, хороша! Послушай: хороша, а! – говорил то ли себе, то ли обращаясь напрямую к Самарке.

– Ну, молодчина, а... ох... ох-хо... чудо, спасибо!

Переплыл Самарку, положил одежду и вновь начал плескаться в воде на отмели.

Радовался и разговаривал, как ребёнок:

– Послушай, всё дно золотое видно... а? Такая ласковая, ну, спасибо, ну, молодчина!

Рыбачков закрывала большая ветловая коряжина на воде, Топорков их не видел. Наслаждался ещё и тем, что был один при такой красоте.

– Расхулиганился наш милиционер, – усмехнулся Мишка, – такая верста, а как пацан.

Топорков тем временем вышел по пояс из воды и его мощное загорелое тело заиграло под утренними лучами солнца. Он был такой же, как Самарка, расцвеченная на отмели золотистыми песчаными берегами и коричневым дном. Они дополняли друг друга.

Топорков постоял под солнцем и опять с брызгами уронил себя в воду.

– Разворковался, как с девкой, – густым басом неожиданно донеслось из кустов напротив Топоркова.

– Ага, как с девкой, точно! – согласился Семён. – Ты, Сарайкин, откуда взялся?

– Бахчи караулю у Кривой ветлы. Услыхал тебя, пойду, думаю, стрельну курева. У меня кончилось.

– Подожди малость, я сейчас!

Сарайкин продолжал:

– Ты скажи про братана моего: из Чапаевска что есть нового?

– Судить скоро будут его, понял?

– Чего же не понять. Как думаешь, много дадут? – спросил Сарайкин.

– Ещё бы, судью на улице избить – десяток лет схлопочет, это точно.

Топорков вышел на берег и запрыгал на одной ноге.

– Бры... ры... бры... ыы, хорошо как!

Поднял одежду и стал в ней копошиться, искал папиросы.

Солнце показалось из-за леса. Лучи его упали и на рыбаков. Стало жарко. Поклёвки пошли реже и Шурка предложил позавтракать.

Сидя на носу с огромным надкушенным помидором и горбушкой хлеба, Мишка поинтересовался:

– Я знаю, вы с дедом отводом рыбачите на шук, да?

– Да, но не на шук, а вообще. Правда, их попадает больше.

– После раздополя?

– Нет, наоборот, когда только начнётся ледоход. Большой воды ещё нет, рыба вся жмётся к берегу, вот бреднем её и бери.

– А как, вода же холодная?

– Дед к кляче², идущей в глубин, прибывает брусочек с гнездом, в него вставляют большой, метров шесть, тонкий шест. Этим шестом один человек отталкивает клячу от берега, а другой, который рядом впереди, тянет по течению за привязанную к ней верёвку.

– А вторая кляча? – допытывался Мишка.

– А что – вторая? Её тащишь около берега в сапогах.

– Ловко! – оценил Мишка, – это твой дед придумал?

– Он говорит, что ещё со своим дедом так рыбачил.

Перегнувшись через борт, смешно вытянув губы трубочкой, Мишка попытался выпить.

Шурка помог: чуть качнул лодку, и лицо приятеля по уши ушло в воду.

Едва откашлявшись, Мишка громко и задорно засмеялся. Когда кончил, спросил:

– Шурк, отводом рыбачить пригласишь?

– Это ж весной, в апреле, когда зажоры на Самарке пройдут, потом...

– Ну и что? Я подожду, – сказал бодро приятель.

– Ладно, – немножко важничая, пообещал Шурка.

Вороняжка

Это – ягода не ягода, сорняк не сорняк. Растёт сама по себе. Только взойдёт картошка, она тут как тут. И, начиная первую прополку, иногда можно спутать её с молодой лебедой,

² Клячи – здесь, обычно два небольших кола, с помощью которых тянут бредень

когда торчит из тёплой благодатно пахнувшей огородной земли всего лишь двумя-тремя листочками. Но не тут-то было, матушка Шурки зорко её высмотрит и после прополки она на равных остаётся рядышком с листочками картошки. Цветёт вороняжка так же неярко, как и картошка. Ягоды её, если с чем-то сравнивать по внешнему виду, когда спелые, может быть, похожи на смородину: такой же величины, тёмно-синие, но мягче и легко в руках мнутся.

В знойный летний день, когда ещё ни одной ягоды, готовой к употреблению, нет ни в огороде, ни в лесу, вот она вам – мальчишеская утеха и радость: вороняжка. Правда, её зовут часто по-другому: «бзника». Шурка всегда конфузится, когда слышит это слово. Он его не говорит. Недоумеваает, почему взрослые: женщины, учителя – все зовут её так.

А бывает ещё удивительнее: попадают ягоды вроде бы неспелые, не черные, но белесые. Изнутри светящиеся теплом и зрелостью – они вкуснее самых черных и броских на вид.

Приятно, прибежав на огород, упасть меж кустов вороняжки и, срывая налившиеся соком ягоды, отправлять в рот. Но ягоды её, висящие гроздьями близко от земли, всегда в огороде мягкой и лёгкой, часто в пыли, поэтому есть приходится не каждую. Другое дело, когда Шуркина матушка, быстрая и ловкая, проворно насобирав миску, ставит вороняжку, помытую холодной водой и посыпанную сахаром, на стол! Не оттащишь за уши! Но самое прекрасное то, что можно приготовить из неё вареники. Вареники с вороняжкой! Они разные: когда горячие, их обжигающий аромат, соединённый с холодным молоком, возбуждал и дразнил. Холодные становились так вкусны и аппетитны, что Шурка их ел с большей охотой, чем всё то, что Екатерина Ивановна могла только с присущей ей расторопностью приготовить и с радостью угостить...

Шуркины друзья, когда у него бывали, с нетерпением ждали таких вареников.

...Лето в разгаре. Когда Шурка прибегал в огород, с разных уголков выглядывали неяркие, но светлые вороняжкины глазки. Они высматривали его...

Шуркин колодец

– Раз уж мы затеяли дела с домом, то надо и остальное подтягивать, – рассуждает вслух Шуркин отец.

– Что остальное-то? Поберегись немного, – Катерина говорит твёрдым голосом, а в глазах радость и одобрение.

– А я на вас с Шуркой рассчитываю. – Василий Фёдорович отложил шило в сторону. Оставив зажатый валенок между коленями, ловко намылил дратву и весело подмигнул: – Колодец надо копать! И пить нужно, и огород поливать. Без воды – никуда. А будет колодец – разведём сад: вишню, яблони, смородину... Мать, что примолкла? А то во всём селе яблони только у Светика и Карпуна. Увидите, как все подхватят затею.

– Не примолкла я. Вспомнила, какие тут на задах до войны вишни были, всё белым-бело. А сейчас ничего, – вздохнула она, смахивая гусиным крылом сор с шестка.

– Шурка, ты почему молчишь? Неужто не веришь, что сад вырастим?

– Пап, я не знаю, как будем копать колодец, – сказал Шурка и покраснел, ему очень не хотелось, чтобы отец подумал, что он трусит. Просто дело-то необычное.

Но отец не отступал:

– Во-первых, схитрим: будем копать внизу огорода, там до воды метра четыре, чует моё сердце. Во-вторых, я Федрыча попросил какой-никакой сруб приготовить. Он половину уже набрал.

– Сговорились уже, – покачала головой Шуркина мать.

...Василий Фёдорович отбил и наточил лопаты: две штыковых и одну совковую, приготовил три жерди, выдернув их из городьбы за сараем.

– Пап, а это зачем? – удивился Шурка.

– А как же ты землю будешь с глубины выкидывать? Настелим полати, сначала на них, а потом с них уже наружу. Через метр глина пойдёт.

...Работа вначале пошла споро. Мать всегда умела работать шустро и весело.

– Василий, а вдруг хлобыстнёт струя, ты нас и не спасёшь, готовь верёвку – вытаскивать будешь. Аль не будешь?

– Хлобыстнёт... жди... Больно горячая, глубины-то ещё воробью по пупок.

Шурке от таких шуток родителей было легче копать. Ему нравилась манера отца сказать, как все, но немножко поправить по-своему, чтобы становилось интереснее. Ведь любой бы сказал: воробью по колено, а его отец – по пупок. Он подумал так и невольно хихикнул.

– Что, Шурка, боишься на Америку выскочить?

– Нет, пап.

– А что?

– Боюсь мимо проскочить.

– Ты вот что, – сказал Василий Фёдорович, – не бери так помногу. Это земля, надорваться можно, понял? Понемногу и размеренней.

– Ничего, пап, не будет.

– Я тебе сказал, а то кишка вылезет – будешь знать.

...Дело пошло более ходко, когда вечером на третий день пришёл дядька Серёжа. Он высокий, поэтому выкидывает глину сразу наверх, не на полати, а потом с них наружу – двойной труд! Шурке нравилось всё в дяде Серёже: и как он работает, и как дурачится для настроения.

– Вон Левый рассказывал: когда поисковые работы были около Кулешовки... Ну, искали нефть. Пробурили разок в одном месте, а потом на второй день стали поднимать трубы. – Серёга для передышки завёл историю, – ну и вынули!

– Что вынули-то? – не выдерживает Шурка.

– А то вынули, – отвечает неспешно Сергей, – непонятное что-то. Похожее на какие-то рога, привязанные на цветную бечёвку. Всё открылось, когда бабка Настя в поисках своей козы зашла на буровую.

– И что?

– А то. Оказалось, бур споткнулся о скалу в земле, повернул и вышел в Настином огороде на метр в высоту. Буровики как раз дело до завтра оставили. А бабка увидела и подумала, что это дед такой хороший кол вбил для Маньки. И привязала сослепу свою козу.

– И что дальше?

– Буровики стали вынимать бур... И вытащили вместе с рогами. Крепко бабка привязала, видать, свою Маньку. Только по цветной бабкиной привязи и опознали Манькины рога.

– Будет тебе врать-то, – сказала Шуркина мать, засмеявшись. – Ты вот скажи, брательник, откуда в тебе этих всяких историй на каждый случай жизни, а?

– А зачем тебе это? – удивился Серёжа.

– А вот любопытно мне. Со всеми случается разное, а с тобой чаще всех.

– Очень даже просто!

– Ну, откуда?

– Просто самое интересное чаще всего происходит там, где почему-то нахожусь я.

– А ещё потому, что любишь бодяжничать, – добавила Катерина. – Рубаху-тоними, а то всю загваздал глиной, я потом простирну.

На следующий день, после того как приходил помогать дядька Серёжа, Екатерина Ивановна и вправду чуть не утонула. Она ударила в очередной раз в углу в твёрдую глину ломом и оттуда хлынула вода. Быстро сбегали за стариком Остроуховым. Мужики начали устанавливать сруб. И тут пробился родник в самом центре.

– Катерина, ты напала на жилу, удачливая какая, – сказал Остроухов. – Сколько колодцев вырыл на своём веку, а этот будет лучшим, помани моё слово. Все будут ходить за водой, надоедать.

– А мы для того и рыли, чтобы, кому надо, ходили за водой. Правда, Шурка?

Шурка посмотрел на мать. Лицо её светилось. Маленькая, ниже его ростом, в сереньком платье и измазанных глиной галошах, она была живее и красивее всех. И – главное всех.

– Отец, а отец... назовём давай наш колодец Шуркиным, а то Зинин колодец есть, Нестеркин колодец есть...

– Ну, мам... – собрался возразить Шурка.

Но Василий Фёдорович опередил:

– Мне нравится, так и назовём!

Шурка заметил, как обрадовалась своей придумке мать. И как она благодарно посмотрела на отца. Оба заулыбались чему-то своему, общему и дорогому для них.

За плетнём, со стороны Лаптаевых, появился Мишка. Он знал, что нравится отцу Шурки, поэтому уверенно пробасил:

– Дядь Вась, кулешата приехали, футбольная команда, а Чугунок Вовка заболел, без Шурки никак.

– Правда, что ли? Это они на стадионе шумят? – повернулся отец к Шурке.

– Да, пап, первенство района среди школьников.

– Ну, давай, раз так.

Не сговариваясь, друзья припустили рысцей, шутя лавируя меж коровьих лепёшек. По пути Шурка заскочил во двор деда.

На чердаке мазанки набил полные карманы сушёной мелкой густерой, сорожкой, плотвой – это было, как семечки. Когда вышел за ворота, кроме Мишки, его ожидали ещё двое посыльных. На ходу теребя сушёную рыбёшку, ребята заторопились на стадион.

Ночной разговор

Ночь. Летняя, душная. Повозка запряжена парой. На возу в летнем разнотравье Шуркин дед, Шурка и дядька Михаил – низкорослый, удивительно сильный, отчаянно резкий и смелый человек – отец Петьки Стрепетка.

Вспоминали Гражданскую войну. Михаил рассказывал, как он, то ли в девятнадцатом, то ли в двадцатом году удрал с курсов красных командиров.

– Дядя Миша, – вмешался Шурка, – это дезертирство?!

– Ага, – беззаботно согласился тот.

Шурка решил до конца прояснить вопрос. Ведь вот сидят с ним на возу два очень своих, хороших человека. И оба – дезертиры. Только один убежал от белых, другой – от красных.

– Дядя Миша, но ты мог бы стать командиром, как Чапаев?! Дядя Миша повернул своё скуластое с рысьими глазами лицо к Шурке и тот почувствовал остроту его взгляда в темноте.

– Ага, мог бы, а потом рубил бы таким мужикам, как твой дед-единоличник, шею. И в конце концов моя голова улетела бы вон в те кусты. А сейчас как-никак сено кошу, на звёзды смотрю. Кому от этого вред, а?! Никому жизнь не коверкаю.

– Михайло, стоп машина, – вмешался Иван Дмитриевич не сразу понятной для внука фразой, – больно ты разговорился, ни к чему это.

– Мы же в лесу...

– Всё равно. Слепая сила, но слух у неё отменный...

– Тогда петь начну, едрён корень. Это разрешено?

Шурке неясен лаконичный диалог взрослых его спутников. Какая сила? Где она? Он хмурится от непонимания происходящего. «Как же так? – думал он, – мой любимый дедушка

почему-то единоличник, не колхозник. Дядя Миша – и того хуже: от красных сбежал». Мир распался на части от таких вопросов. Шурке становилось не по себе. Но так длилось недолго. Уже через несколько минут он забыл непонятный разговор, замороженный чистым и красивым голосом дяди Миши, вдруг оказавшимся в песне грустным и даже печальным... И если что и волновало под звуки песни в ночи, когда смотрел в широкое ночное звёздное небо, так это то, как они будут съезжать с крутой горы у посёлка Красная Самарка на мост через реку.

Из-за крутизны берега обычно в этом месте лошадь брали под уздцы, в спицы задних колёс рыдвана вставляли черенок от вил и юзом, не спеша, оставляя глубокие следы в жёлтом сыром песке, пытались попасть на узкий скрипучий мост. Шурка озирался на возу, смотрел: вил не было. Тёмная ночь, да ещё мерин Карий, ослепший недавно на один глаз, постоянно забирал влево так настойчиво, что правую вожжу приходилось держать натянутой, отчего быстро уставала рука. Меренок Цыган, семенивший в паре, слабосильный. Но вожжи в руках дяди Миши. Такого уверенного и умелого.

И всё-таки жутковато: а вдруг рванёт дремучая лошадиная сила Карего сослепу в сторону... и пошло-поехало...

Тягомотина

То, что колодец вырыт, не значит конец всем делам. Сердце у Шурки ёкнуло, он только начал собираться на рыбалку в компании с Мишкой и Венькой Ресновым, а тут голос отца за спиной:

– Шурка, прекращай шалберничать, нужно те три лесины, которые лежат на задах, ошкурить.

Большущие осокори вчера притащил волоком на тракторе Володька Коршунов, вспоров по пути в переулке на гати залежи золы и мусора. Стволы надо ещё «расхатать», как говорит отец, то есть распилить на брёвна, обрубить сучки. Василий Фёдорович торопится. Ведь перед тем, как везти на пилораму, дерево должно подсохнуть. Обычное дело: как собрался на рыбалку – так возникает отцовское задание, словно нарочно. Неудобно перед ребятами – Шурка их подводил уже, ведь он главный в рыбацких затеях. Александр пошёл в мастерскую, взял остро наточенный отцом топор и, грустный, зашагал на зады к осокорям. Сел на прохладный с матовым свинцовым оттенком большой сучок.

Невольно вспомнились стихи, сочинённые совсем недавно. После такой же примерно истории. Их он ещё никому не показывал, даже дядьке Сергею:

Жарко

*Перекажи-поле по пыли
Катится вприпрыжку,
Дремлет стая сизарей
На пожарной вышке.
Не шумаркнет, тихо всё.
Льётся зной тягучий,
Пар клубится целый день
Над навозной кучей.
Но смотри, смотри – растёт
Тучка над детсадом.
Эх, на речку бы сейчас!
Да работать надо.*

С некоторых пор, особенно после разговора с дядей Серёжей, стихи стали получаться у Шурки часто. Он иногда даже не знал, что с этим делать. В самый неподходящий момент: на прополке, на стадионе, на рыбалке – везде, где нужна сноровка, на Шурку находило состояние, когда он отвлекался от всего и уходил в себя.

– Ты какой-то рахманный стал, Шурка, – сказала однажды мать.

– Влюбился, поди, – высказала догадку баба Груня и засмеялась. – Пройдёт, это такой возраст.

«Такой возраст, – повторил про себя Шурка. – Какой возраст? Я ведь и не влюбился вовсе!» И вдруг обожгла другая мысль: «Значит уже положено влюбиться! И в этом нет ничего плохого, хотя ещё не взрослый».

Пришли Мишка с Венькой с Приказного озера, где копали червей.

– Во! – сказал Мишка, – с ночевой хватит.

– С ночевой, – повторил Шурка, – а вот этого, – он показал на дерево под собой, – до завтра мне хватит.

– Что, как всегда, боевое задание, – скорее подтвердил, чем спросил Венька.

– Угу, – мотнул головой Шурка.

– Вот это тягомотина! – выдохнул Мишка.

– Ерунда, – сказал Венька и, поставив ногу на сучок, по-полководчески оглядел район действий. – Три дерева всего? – спросил он, ни к кому не обращаясь. – Три, – подтвердил он сам себе, – значит по одному на нос. Будем тянуть тройной тягой!

– Чего? – спросил Мишка.

– Ну, ты же говоришь – тяга Мотина? А я говорю – тяга наша, троих, а не одного Мотина.

Шурка вспомнил дядьку Мотина, жившего на дальнем краю села и развозившего на дрожках горячее по полевым станам. Вспомнил его вечно понурую лошадёнку, похожую на слепую Карюху, которая крутит колесо на ческе шерсти в промкомбинате, и ему стало весело.

«Тяга Мотина, – придумал же Венька в очередной раз штуковину какую. Откуда у него это?»

– Шурк, давай ещё топоры, до обеда сделаем и мотнём с ночевой. Чё раскис? А лучше тащи лопаты, ими хорошо шкурить, я знаю.

– Сейчас! – обрадованный таким поворотом дела, Ковальский метнулся во двор. «Только бы Коршунов сегодня не приволок ещё таких же. Тогда никакая тройная тяга не поможет, – подумал Шурка на бегу, – а так быстро управимся и вечером будем на Ледянке. Может, на сомят посидим».

В грозу

– Смотри-ка, рона, бороньим зубом махнуло, – не то восхищённо, не то опасно сказал дед Иван, показывая на огромный росчерк молнии над головой.

Не успел Шурка что-либо сказать, как вслед за ярким светом грохнуло так, что вздрогнула земля, а на небо стало страшно смотреть. На противоположном берегу Самарки полыхнуло пламя – одиноко стоящий вяз надломился пополам и загорелся.

– Во дела, а я думал, стороной пройдёт. Сергей, мерекашь? Беги к Ракчевым на стан. Они у Кривой ветлы чилигу режут, веники вяжут. Попроси бредень, если они сами не будут рыбачить. Красота в грозу-то водить, непременно с уловом будем.

Серёгу не надо просить дважды. Толкнул лодку – и на той стороне.

– В грозу, как и в ледоход, вся рыба к берегу жмётся.

– А почему так? – Шурка удивлённо смотрел, как после каждого удара грома мелкая рыба выпрыгивает над водой.

– Ну, Илья-пророк разошёлся, – взглянув на небо, произнёс дедушка.

– Какой Илья?

– Как – какой? Заведующий небесными делами.

– Деда, ты веришь в Бога? – Шурка спросил и сам испугался своего вопроса.

– Верь не верь, а вокруг нас есть такое, чего нам не дано понять.

– А что?

– Все, кто умер, – просто и с какой-то лёгкой решительностью сказал Иван Дмитриевич, – души их вокруг нас всех, и мучаются. Вдруг это так?

– От того, что в аду? – выдохнул Шурка.

– Я о другом. Они не могут нам сказать, что загробная жизнь есть. Не могут доказать, а мы не верим. Вот так и живём. Как бы на разных берегах: они нас видят, хотят помочь, неразумность нашу поправить, подсказать задним умом, как надо правильнее жить, а не могут. Они видят, а мы слепы. В этом наша беда, может.

Ну-ка, Шурка, давай уйдем подальше от стана, а то тут железа много: коса, телега... Не быть бы беде, видишь, как молния-то бьёт!

Они ушли по отмели к красноталу. Отсюда, сверху, реку можно было видеть всю в ширину. Напротив, в темноте густого леса, еле-еле угадывался Кунаев ключ, летом пересыхавший, но хранивший в себе сумрачность, заболоченность и великое множество комаров. Но это Шурка не воспринимал как враждебность ключа к людям. В нём было много и щедрот – чёрной смородины, ежевики, черёмухи...

– Летось, вот в такую же пору, Авдей шёл с вилами вечером. Ахнуло по железным вилам – и нет Авдея. Бабёнкам хоть бы хны, а он лежит почерневший весь. Одногодок мой, вместе в Царицыне служили в царской ещё армии, вместе ушли домой.

– Деда, зря, выходит, старались с перетягами-то, сом уж точно сегодня на охоту не выйдет, а?

– Наверняка так. Не повезло нам.

Два дня назад они перегородили перетягами Самарку так, что яма, из которой выходил на плёс сом, оказалась между ними. Сом заметил Серёга и подбил отца, пока сенокос здесь, рядом, попробовать счастья. У Ивана Дмитриевича в погребнице всегда висели плетёные из суровых ниток, толстые в карандаш и длиной в метр, поводки. Крючки были самодельные, из пружин от сиденья велосипеда, откованные покровским кузнецом. Вчера ещё засветло в намеченном месте воткнули колья, и два перетяга заняли своё место, шумно хлопая бечевой по речной глади. Чуть позже, уже в сумерках, Серёга ненадолго отлучился и принёс в ведре с водой живцов: сорожку, карасей. Оказывается, в старице заблаговременно была поставлена сетка. Наживку поехали ставить втроём, и Шурка, сидя на носу лодки, видел всё таинство действия.

Бечеву пропустили через нос и корму. Лодку потоком влекло вниз, перетяг поднялся над водой и, натянувшись, как тетива, держал лодку поперёк течения реки.

Не спеша, прямо в лодке дед ловкими движениями привязывал поводок к перетягу. Получилось по пятнадцать поводков на каждом перетяге. Серёжка насаживал живца, бережно и одновременно решительно прокалывал крючком чуть ниже спинного плавника. Четырёх самых больших карасей, по полкило каждый, два на каждый перетяг поставили в самом глубоком месте – в десятке метров от противоположного берега. Уже ночью Серёга поджарил на углях ворону и тоже нацепил на поводок.

– Для запаха, и вообще, – он щёлкнул языком, – только ленивый чудака не возьмёт нашу наживу.

Но сом не брал. Он вообще лишь в первый вечер дал о себе знать один раз: так ухнул меж двумя перетягами, что мелочь шарахнулась в разные стороны. И всё. Будто засвидетельствовал своё присутствие, а там как хотите. Вторые сутки нажива не тронута.

– Теперь понятно, почему сом не гуляет, – нарушил тишину дедушка.

– Почему? – торопливо спросил Шурка.

– Ты же видишь, какая погода разгулялась. Не по его натуре. Напрасны наши труды. Он не выйдет на охоту. Ему нужна светлая, спокойная ночь. Обычно сома ждут три ночи. Если не появится, на то обязательно своя причина.

Бороний зуб, про который говорил дедушка, так сильно снова царапнул по небу, что оно как будто всё загорелось от этой спички. Враз содержимое большого и необъятного пространства раскололось с грохотом и обрушилось вниз на землю: на Самарку, рыдван, Карего, который дёрнулся с места и, стреноженный, громко заржал. И из этого ада, из невероятной череды яркого света и густой тьмы появился с бреднем на плече Серёга.

– Живы?! – выкрикнул он.

– Как Ракчевы там? – спокойно отозвался Иван Дмитриевич.

– Хотели сами рыбачить, да тётя Мариша не разрешила, боится за них. Пошли? А то уйдёт гроза.

– Мне кажется, что уже уходит в сторону Кротовки, – сказал дед.

Шурке и хотелось попробовать порыбачить, и не верилось, что он решится.

– Держи, Шурка, мешок, будешь рыбу собирать, а ты, Сергей, в глуби пойдёшь.

– А чего мне пойду, – Сергей шагнул к воде.

Быстро размотали бредень, расправили мотню и вниз по течению потащили клячу. Дед брёл по колено в воде, намеренно далеко отставая от Серёги. Удивительно для Шурки: чуткий и быстрый подуст, которого обычно ловили с лодки днём со всеми мерами предосторожности, сейчас сам шёл стаями в бредень на мелководе. Вода от него, казалось, кипела. Три раза вывели бредень, и Шуркин мешок отяжелел от бели. Было там и несколько раков, оказавшихся совсем некстати: кололись – нельзя мешок взгромоздить на спину. Но Шурка их не выбрасывал, уже представляя себе, как, едва взойдёт солнце, будет варить их в котелке, пока Иван Дмитриевич точит косу.

– Никак, зацепился? – крикнул приглушённо дед и Шурка побежал поближе к рыбакам.

– Наверно, топляк здоровенный, – сказал вяло Сергей.

Подтащив клячу к берегу, воткнул её и направился к мотне. И в тот же момент – там, где ожидалась коряга, в самой мотне что-то взбурлило, зашевелилось большущим пугающим комом. Серёга закричал:

– Сом, сом-голубчик, вот он!

Когда сверкнула молния, Шурка отчётливо увидел Серёгу и под ним огромное чёрно-белое чудище. В следующий момент подоспевший дед Иван схватил вместе обе клячи бредня, стараясь свести крылья воедино, чтобы преградить выход сому, но споткнулся и упал в воду. Сергей метнулся на берег, увидев белеющий в высверках молнии воткнутый на песчаной отмели осиновый кол. Это и решило исход схватки.

Шурка подошёл совсем близко. Серёга выволакивал по мели спутавшийся напрочь бредень, спеленавший огромную рыбину.

...Около костра Шурка лёг рядом с сомом. Рыбина оказалась намного длиннее его тела – на целую вытянутую руку.

– А как думаете, это тот, которого мы хотели поймать? – спросил Шурка.

– Здорово было бы, если это его младший брат! – засмеялся Серёга.

– Я днём отвезу его, а вы понаблюдайте, и всё станет ясно. Перетяги пока не снимайте, – распорядился Иван Дмитриевич.

И только он это сказал, на реке знакомо ухнуло так, что Сергей даже вскочил.

– Мать честная, и правда, их два. Дела!

– Вот ведь какой коленкор, – сдержанно обронил Шуркин дед и почесал затылок.

На пилораме

Стены избы Любаевых поднимались с радостной быстротой. Народ собрался дружный. На помочах это самое главное! Командовал, конечно, Василий Фёдорович, который не указывал пальцем, не махал руками. Он просто и спокойно говорил, как и что нужно делать. Все с охотой подчинялись, удивляясь его смекалке.

– Василий, тебе бы в командармы или председателем нашего колхоза, а ты таишь в себе эту жилу, – сказал не умевший долго молчать шкодливый Андрей Беспёрстов.

– Не балабонь и не мучай кирпич. Смахни под ним на четверть штыка горбушку-то земляную с левого краю, он и ляжет, – отвечал Василий Фёдорович.

– Я ещё только примеряюсь, – оправдывался Андрей, укладывавший с напарником в траншею первый ряд самана.

Шурка с отцом только вчера наметили размеры дома. Он по команде Василия Фёдоровича вбил колышки по всему периметру, отметив, где копать траншеи под стены. Сегодня утром дружная команда всё быстро сделала. Прямоугольник из траншей был готов: девять метров в длину и шесть в ширину. И теперь изба росла прямо из него. Раствор для кладки делали тут же, внутри будущего дома из той же самой земли, которая должна остаться под полом, добавив немного глины.

У Шурки своя обязанность: подтаскивать с задов и распределять по периметру кладки хворост, который использовали для связи.

...Прошла неделя, как стены стоят, а вот прорваться на пилораму всё не получается: то сломана, то лесхоз своим работникам пилит. Наконец дошла очередь и до Любаевых.

Ошкуренные и подсушенные осокори привезли на распиловку за поллитровку водки. Отец сходил к чайной и подрядил одного бойкого парня на грузовике.

Пилорама – первая серьёзная машина в жизни Шурки. Правда, он бывал на чёске шерсти в промкомбинате, где по кругу ходит флегматичная буланая лошадёнка, приводя в движение механизмы. Бывал он и на паровой мельнице. Но это же не сравнить с тем, что он увидел. В огромном деревянном сарае, стены которого сбиты из широченных досок, стояла загадочная машина, очень похожая на большого кузнечика. Механизмы машины, затягивающие в себя брёвна, похожи на ноги этого кузнечика с высоко поднятыми коленками. И визг, и скрежет пилы тоже чем-то, казалось, напоминали этих сельских обитателей.

На пилораме царил запах дерева. Ворохи опилок, весь воздух в сарае пропитаны лесом, Самаркой. Шуркины осокори лежали уже под навесом справа от тележек, катающихся по рельсовой дороге. Команда из Василия Фёдоровича, Степана Синегубого и Ковальского ждала своей очереди. «Всё, как на паровой мельнице: очередь и опилки вокруг, как мука, лезут за шиворот», – подумал Шурка и улыбнулся.

– Ты чего, Шурк, развеселился? – спросил отец.

– Да, так, вспомнил, как мы с дедом на мельнице ждали, сидя в телеге на мешке с пшеницей-белотуркой. Впереди нас лошадь у дядьки сорвала шапку с головы. Он перепугался, еле отобрал – завязка между зубов зацепилась узлами. Он просил животину отдать, а хозяин лошади матерился.

– А чего ж он матерился? – лениво переспросил Синегубый.

– А чтоб завязки нормальные были у шапки, – пояснил Шурка.

– Хорош мужик. Его б к нам на фронте старшиной, цены б не было, – констатировал Синегубый и, чуть помолчав, снова спросил: – Ну, как, это братское кладбище нравится?

– Какое? – не понял Шурка.

– Ну, пилорама? Жили-были деревья. Раз – и нет их, есть опилки и доски. Доски постоят два десятка лет и сгниют. Всё прахом полетит. А были деревья: зелёные, птицы в них пели.

– Чего ты, Степан, голову дуришь парню, делать нечего? – строго произнёс Василий Фёдорович.

Шурка опешил от рассуждений Синегубого. У него тоже такая мысль появилась. Обожгла ещё там, на полянке, когда пилили с Веней эти самые осокори. Но тогда, глядя на жизнерадостного Веньку, он отогнал эту мысль, как глупость, подумав, что такое может прийти в голову только случайно и не взрослому, а Шурка хотел быть взрослым. Но вот и Синегубый, воевавший, раненый, контуженный, закалённый, тоже думает об этом?

– На, Шура, будешь подсоблять класть брёвна на катки и подавать к распилу, – отец протянул толстый с кольцом сверху лом. – А ты, Стёпа, близко к машине не подходи. От греха подальше. Здесь твоим глазам видней, тут будешь.

Василий решил все осокори прогнать на «двадцатку» для тёса на крышу.

Без рукавиц работать тяжёлым ломом было непривычно. Шурка при каждой загрузке старался делать всё ловко и ритмично. Ему нравились отточенность и определённая движенья. Но он быстро понял, что надолго его не хватит – выдохнется.

– Дядя Вась, у вас дома беда, – с ходу выпалил Колька Зинин, появившийся в широком проёме ворот, там, где начинались рельсы узкоколейки.

– Говори, – властно сказал Любаев.

– Ваша Надюха обьялась белены, её всю колотит. Я споты-кошки прямо к вам. Тетя Катя послала.

«То куриной слепоты наберёт, то вот теперь белена... Эх, Надюха, Надюха», – только и успел подумать Шурка.

– Бесамыга такая, – обронил Василий. – Степан! Тут без меня с Шуркой продолжите? Мне идти надо.

– Отчего ж не продолжить? Продолжим... – отозвался тот.

Любаев, поменяв лом на бадик, ушёл.

В Ревунах

Головачёв этой осенью подрядился на пару с Гришей Ваньковым сторожить бахчи в Ревунах. Ревуны – это цепь озёр за посёлком Красная Самарка в сторону Малой Малышевки.

Говорят, Ревуны – бывшее русло отступившей от этих мест влево Самарки. Разбухающие весной от полоёй шальной воды, сливаясь воедино, они шумят и режут, неся мутные потоки до тех пор, пока там, в речных верховьях, на чистом степном просторе, не иссякнет запас водной лавины.

И станут озёра на лето тихим убежищем для уток, выпи, лысух и всякой мелочи, летающей, порхающей и бегающей. И будут глядеть они из-под крутых берегов через заросли на небо своими тихими сузившимися зрачками.

...Больше всего нравилась Шурке дорога на бахчи в Ревунах. Чаще всего в гости к деду он добирался на велосипеде. Путешествие недлинное, но не из лёгких.

За Самаркой особенно тяжело, колеса вязнут в песке и часто приходилось останавливаться. Но зато какими подарками щедро оделял этот путь! После моста, когда Шурка ехал из Утёвки, едва взобравшись на крутой берег Самарки и ещё как следует не успев насладиться простором, избытком синевы неба и воды, нырял в глубокий овраг. Дорога пересекала его строго поперёк, обрамлённая слева старым лесом, а справа – талами, скрывающими ответвление на лесной кордон в Моховое.

На одном дыхании одолеть Шурке овраг не удавалось. Каждый раз пересекал его пешком. После прохладного оврага вновь подарок – большущий песчаный плешивый курган. Здесь, на подъезде к нему, Шуркина душа каждый раз вздрагивала. Он начинал невольно озираться, как бы пытаясь найти опору, за которую, зацепившись, удержался бы и не упал в пропасть, так

или иначе связанную у Александра в сознании со словом «вечность». Эта опора сама собой появлялась лишь только тогда, когда он вплотную подъезжал к кургану и переставал его видеть издали. Вблизи курган закрывали деревья, дедов шалаш на бахче, предметы быта, омет, заботы разные... Только здесь уходило ощущение, что завис он на каком-то ненадёжном канате над бездной и она его готова проглотить.

...Совсем другое дело – дорога назад с бахчей в Утёвку. Шурка любил, миновав овраг, выбраться на ровное место, где намеренно брал резко влево к Баринову дому. Возникало удивительное зрелище: внизу, недалеко от Покровки, правее Утёвки, уютно лежала, как дымчатая кошка, река Самарка, поросшая по берегам чаще всего осинником и талами. Подсвеченные золотистым песком, воды её излучали радостный свет.

Село Покровка – прямо внизу. С высоты птичьего полёта можно смотреть на красивую, облитую лучами закатного солнца церковь. Утёвка – там, за Самаркой, за полоской леса, за редкими прямыми столбами дыма рыбацких костров. До неё километров пять, но церковь её хорошо видна. В отличие от Покровской, купол её – светлый, кряжистый – излучал такую светоносную волну, что захватывало дух и верилось в добрую сказку.

Когда Шурка стоял здесь, наверху, и видел манящую даль, коршуна, реющего в свободном полёте над Самаркой, ему иногда казалось, что стоит только неосторожно шевельнуть руками, и он тоже воспарит над этим простором. Что чудо заложено где-то здесь. Оно во всем, что его окружает, и есть только совсем незаметная грань, которая вот-вот нарушится, и тогда все, признав это чудо, начнут ликовать, как ликовало Шуркино сердце...

Было ещё одно диво в этих Шуркиных местах: не поддававшийся самым лютым холодам незамерзающий родник, выходивший из-под кручи вниз к Самарке.

В Утёвке и около неё мало берёз, считанные единицы. Здесь, начиная с Баринова дома, стояли вначале колки берёз, а затем они переходили в сплошной березовый лес! К этому Шурка привыкнуть не мог.

...Шурка на бахче второй день один – взрослые уехали. Дядя Гриша – на какую-то комиссию, дед – за продуктами. Он почему-то задержался.

Шурка решил сварить суп из добытой накануне кряквы. Сев на пенёк и поставив у ног тазик, начал ощипывать задеревеневшую тушку.

Залаял Цыган. Шурка обернулся: со стороны оврага из зарослей выходили двое с ружьями. У одного, смуглого – ружьё в руках. Шурка метнул взгляд на шалаш – там лежала его одностволка. «Не успеть, – мелькнула мысль, – рядом уже... Что же ты, Цыган, прозевал, подвел?» Незваные гости подошли к Шурке и он враз успокоился. По всему видно, что это серьёзные охотники. У обоих были рюкзаки, каждый опоясан набитым богато патронташем.

– Что, один? – спросил чернявый и огляделся вокруг.

– Один, – ответил Шурка и насторожился вопросу.

– Тогда примешь, хозяин, гостей? – вновь сказал чернявый.

– С ночевой?

– Нет, парень, перекусить да чайку попить, – ответил уже тот, что постарше и посветлее.

И хотя Шурка больше не успел ничего сказать, чернявый по-хозяйски притулил ружьё к двери шалаша и, сняв рюкзак, повалился на землю:

– Весь день прошлялись и ни фига, это надо же, а пацан кряквой забавляется. Андрей?

Шурку кольнуло, каким тоном было сказано о нём, и он буркнул:

– Сейчас ветер дверь тронет, и ваше ружьё будет на земле, в пыли.

Тот, которого назвали Андреем, вдруг весело рассмеялся:

– Алик, получил?

– Да... – протянул Алик, – уважай мастера.

Он встал и повесил ружьё вверх стволами на сучок дверной дубовой сохи.

Потом они рылись в рюкзаках и переговаривались.

– И всё-таки, чтобы закончить нашу тему... Андрей, она талантливая актриса, но нельзя же так... – он помолчал, очевидно, подбирая нужное слово. – Нельзя же делать такие, понимаешь, чики-брики, хоть ты и нравишься многим, включая и главного режиссера.

– Да-да, понимаешь, в этом есть что-то возрастное, переходное... Пройдёт. Но главная роль всё равно как будто только для неё написана. Да? А ты почувствовал, какая она партнёрша на сцене?

Шурку прошиб пот. Перед ним были артисты и не какие-нибудь, Шурка сразу понял по манерам, по тому, о чём они говорили и как, а настоящие, из серьёзного театра. Видеть живых артистов так близко, с ружьями, на бахчах! Разговаривать с ними! Это было, как сон. Он ступешался, не зная, как себя вести.

– Можно на столике разложить, зачем на земле, – сказал он нерешительно.

– Ах, да, конечно, спасибо.

Андрей положил на стол завёрнутый в марлю кружок чёрного городского хлеба.

«Ну, охотники-то из них не ахти какие, должно быть», – немного приходя в себя, подумал Шурка.

– А мы вот без пера, – живо сказал Андрей, – может, ещё на вечерней зорьке душу отведем.

– Как же – на вечерней, если вы ночевать не собираетесь?

– Собираемся. Тебя как звать? – откликнулся Алик.

– Александром, – ответил деревянным голосом Шурка.

– Ну, вот, Александр, у нас на кордоне у Репкова машина, а сами мы из Куйбышева. На кордоне и ночуем. Ты нас не бойся.

– С чего вы взяли, что я боюсь? Я вот думаю: почему вы до сих пор арбуза не просите, – осмелев, сказал Шурка.

Алик так громко захохотал, разинув широкий рот и сверкая белыми, безукоризненно ровными зубами, что Шурке показалось: это не очень нормально. Будто он так сделал специально, чтобы ослепить Шурку белизной своих зубов или прорепетировал смех на всякий случай.

– Если угостишь, покажу и научу, как есть арбуз. Пойдёт?

«Вот нахал, научит есть арбуз... Тоже учитель!» – подумал Шурка. Ноги сами его подняли и понесли на арбузные ряды.

А в спину летел гортанный голос Алика:

– Александр, для всех надо два арбуза!

Шурка вернулся к столу с парой «победителей». Гости уже разложили свои запасы на столе. Непривычно крепко пахло копчёной колбасой; о такой Шурка только слышал, но никогда не пробовал. Он вообще не мог вспомнить, когда ел обычную колбасу в последний раз.

Андрей, взглянув на Шурку, отрезал солидный кусок колбасы и положил перед ним:

– Мы отведаем твоих арбузов, а ты – нашу еду.

Шурка смотрел на его руки и думал: «Как у деревенского мужика, только очень чистые. Интересно, откуда родом, может, родители, как у меня, – деревенские?».

– Я суп хотел варить, – опомнился Шурка.

– Да, ладно, не надо – это долго, – сказал Алик, – мы хотим на вечерней зорьке посидеть.

Колбаса лежала рядом, Шурка смущался, начиная сомневаться: а вдруг она почищенная уже? Не видно кожурки-то? Начнёшь чистить, они засмеются. Выждал, когда Андрей занялся одним из кусков, и только тогда потянулся за своим.

– И часто ты крякву бьёшь? – спросил Алик.

– Каждый раз, – сказал Шурка.

Гости многозначительно переглянулись.

– А как ты охотишься? – поинтересовался Алик.

– Просто, – успокоившись, отвечал Шурка, – в одежде и обуви, чтобы не порезаться, захожу в озеро и иду из конца в конец. Они днём в камышах прячутся. На взлёте, когда крылья вразмах, а скорости нет, – только и бить. Так надёжнее, не спутаешь с лысухой – заряд сбережёшь. Обычно беру с собой один, ну, два от силы патрона, чтобы не жунять без толку заряды. Тут, в Ревунах, их много, но надо спугнуть из зарослей.

– Молодец, – сказал Алик, – ты нам свою науку преподал, а мы тебе – свою за это.

«Вот бы нечаянно заговорили про театр», – со слабой надеждой подумал Шурка. Алик взял нож и разрезал арбуз пополам. Положил одну половину перед Шуркой, ножом почикал несколько раз ярко-красную мякоть.

– Деревянная ложка есть? Бери и ложкой с хлебом ешь, как из чашки.

Шурка попробовал. Было вкусно, удобно и необычно.

Они доели свои порции быстрее, чем Шурка – свою. И случилось то, чего он так не хотел: гости стали быстро собираться на дальний конец Ревунов.

– А чай? – растерянно спросил Александр.

– Хозяин, ну какой чай после арбузов? – Алик уже стоял на тропе. – Спасибо за хлеб-соль. Привет от солнечного Азербайджана.

– На, возьми, тебе надо, – сказал Андрей и положил на похолодевшую ладонь Шурки три новеньких бумажных патрона. И артисты скрылись в зарослях боярышника.

Чивер и голуби

Мать Шурки через день готовила поросёнку болтушку: смесь отрубей, остатков еды и трава заливается в баке горячей водой, потом хорошо размешивается скалкой.

– Шурка, нарви тазик жирнухи, я сделаю Борьке болтушку. Шурка покорно взял в сельнице выдавший виды тазик и пошёл мимо поросёнка Борьки, умиротворённо хрюкающего в пыли за сеньями.

В проулке, за гатью, поставив тазик в самую гущу лебеды, Шурка рвал отяжелевшие макушки запылённой, со свинцовым оттенком травы и целыми пригоршнями бросал в тазик. Неожиданно, как из-под земли, вырос перед ним Мишка Лашманкин.

– Следишь за мной? – первое, что пришло в голову, сказал Шурка.

– Дело есть, – ответил Мишка, – нужна твоя помощь.

Мишка сел около тазика и с не свойственной ему растерянностью в лице, пошарив в карманах, вынул пачку «Севера». Щёлкнув пальцем по ней, протянул Шурке выскочившую наполовину папиросу.

– Я не курю.

– Ну, ладно, как хочешь.

– Говори, что надо.

Ковальский все ещё осторожничал и поглядывал поверх травы: нет ли где спрятавшихся Мишкиных друзей, готовых врасплох напасть. Одно дело, что тот помог ему, когда была беда с ногами, другое – сейчас.

– Дай ружьё на один только вечер. У тебя есть, я знаю.

– Зачем?

– Вернулся Илья Бедуар, ну, отсидел два года. Знаешь такого?

– Ещё бы! Только он – Бедуар, а не Бедуар.

– Какая мне разница, – сплюнул смачно Мишка. – Он подсылает ко мне Чивера.

– А кто такой Чивер?

– Есть такой. Генка Горбунов, в том приходе шурует со своей гоп-компанией, они на побегушках у Бедуара. Я должен был три дня назад отдать им Гривуна, которого купил в

Покровке, – они же голубятники заядлые. Не отдал, а спрятал. Теперь сегодня придут домой вечером – всех заберут.

– А родители?

– Они в Бариновке, на свадьбу поехали.

– Ружьё не дам, – твёрдо сказал Шурка, – нельзя на людей с ружьём.

– Они – грабители, а ты – «нельзя». Ты просто боишься, да? Выручи! Я только пугну, а за это должок будет за мной. Этих гавриков нельзя пускать в наш конец, всех потом подомнут, понял? Стоит один раз струсить, и потом... Я ведь тебе помог тогда, на задах.

Шурка задумался.

– Когда придут?

– Наверняка перед танцами в клубе, часов в восемь.

– Хорошо, я сам приду с ружьём.

– Не обманешь?

– Слово даю.

Весь его опыт общения с охотниками, взрослыми, которые, не сговариваясь, доверяли ему иметь своё ружьё, говорил, что нельзя делать то, о чём просил Мишка. И он нашёл, как показалось, выход.

Придя домой, взял два заряженных патрона. Удалив бумажные пыжи и вытряхнув дробь, пошёл на кухню. Насыпал на ладонь из стеклянной поллитровой банки соли, внимательно осмотрел серый бугорок на свету и остался недоволен: соль мелкая, не верилось, что может заменить дробь в патроне. Высыпая соль обратно в банку, споткнулся взглядом о мешочек с пшеном. Это было то, что нужно. «Конечно, стрелять не буду, – успокаивал себя Шурка, – если уж на самую крайность, то в воздух».

... Он подошёл к дому Лашманкиных в половине восьмого.

– Вот здорово, – ликовал Мишка, – я всегда тебя считал мировым парнем!

– Я стрелять в людей не буду, – возбуждённо сказал Александр.

– Да и не надо, пальнём поверх голов – и то хорошо.

Трое подростков появились с дальнего порядка улицы. Шли уверенно, не прячась.

– Они, – возбуждённо сказал Мишка, – я прятаться не буду, нельзя, а ты встань за плетень и пригнись.

Шурка зашёл за плетень, отделявший двор от огорода, потоптался и присел за кустом сирени.

Во двор гости вошли с форсом. Чивер, его Шурка сразу определил по нагловатой ухмылке и по тому, как заискивали перед ним остальные, с ходу поддел консервную банку у входа и она, сделав полукруг, опустилась едва ли не на голову Шурки.

– Конец тебе, Мишка, – сказал тот, что был ближе к сирени, – сейчас козлиную смерть тебе будем делать. Не принес Гривуна, пеняй на себя.

Шурка видел, как побледнел его приятель, но остался стоять на месте. Страшная это штука – козлиная смерть. Её делали обычно так: двое держали провинившегося, а третий указательными пальцами с двух сторон начинал, как шилом, давить за ушами прямо за мочкой, в углублении. Чем сильнее жмут, тем нестерпимее боль.

– Неси Гривуна – и делу конец, – по-хозяйски сказал Чивер. – Некогда нам рассусоливать, колготу разводить. Он это не любит.

Чивер сказал «он», и все поняли, о ком это.

– Гривуна нет, – твёрдо сказал Мишка.

– Где, говори! – почти по-военному, властно сказал Чивер и в один ловкий прыжок оказался вплотную с Мишкой, мгновенно заломив ему правую руку за спину.

– Ребя, вали его саманную голубятню, чего цацкаться, хватит ему люсить!

Шурка поднялся из-за сирени, положил одностволку на плетень и скомандовал:

– Отпусти Мишку!
– Ещё чего? А хо-хо не хе-хе? Откуда ты такой?
– Стрелять буду, – возбуждённо выкрикнул Шурка.
– Кишка тонка стрелять, – сказал Чивер и выставил впереди себя Мишку.
– По ногам жажну, – подтвердил Шурка и, взведя курок, направил ружьё на обещавшего козлиную смерть. Глаза их встретились.

– Чивер, он пальнёт – это точно! – взвизгнул тот, затравленно оглядываясь на калитку.
– Ладно, кина не будет, – оттолкнув от себя Мишку, сказал Чивер, – но не попадайтесь теперь на глаза!

Когда они скрылись за калиткой, подошедший к плетню Мишка сказал, кивнув в сторону Чивера:

– Отошла коту масленица, ёкорный бабай!
– А что это такое?
– Что? – не понял тот.
– Ну, ёкорный бабай.
– А я откуда знаю? Так Бедуар говорит, – ответил Мишка и оба расхохотались.

Когда смех прошёл, Шурка спросил:

– А что это за голубь – Гривун?
– Ты не знаешь? – удивился Мишка.
– Нет.

– Гривун – это чисто белый голубь. Такую породу вывел граф Орлов. Очень красивый, на загривке треугольник коричневого либо красного цвета. У моего – коричневый.

– Ты это всё не придумал? – засомневался Шурка.
– Да ты что? Обижаешь, я тебе его покажу, только чуть позже. Ладно?
– Ладно, – согласился Шурка.

...Они понимали, что на этом дело не кончится. Быть им битыми и жестоко. Но всё обошлось как-то по-странному просто.

Через неделю, собравшись на рыбалку, ребята отправились на Приказное озеро за червями. На Приказное можно идти мимо школы либо вдоль магазинов, где слева от продмага стоит пивнушка. Вот этой дорогой они и двинули. Когда до пивного ларька оставалось метров пять, от него отделились три фигуры.

– Что делать, Коваль? – заволновался Мишка.
– Поздно, иди спокойно.
– Стоп, команда! – сказал неожиданно звонким голосом Бедуар.

Они продолжали путь. Шурка бросил взгляд на ларёк. Стоявшие у него парни заинтересованно смотрели на происходящее.

Остановившись, Шурка краем глаза заметил, как Мишка отстегнул с пояса широкий ремень с тяжёлой бляхой. «Ни к чему это, – успел подумать он, – даже смешно».

Чивер выскочил вперёд, но его остановил Бедуар.

– Погодь, – отстранив его рукой, сказал он. – Кто был с ружьём?
– Ну, я, – сказал Шурка и почувствовал, как задрожали руки.
– Стрельнул бы тогда?

– Не знаю, – овладев собой, ответил Шурка. – Как бы дело пошло, так и сделал бы.

– Ишь ты какой, не ожидал, – сказал Бедуар, покосившись на толпу у пивнушки, куда подошёл бойкий Петька Стрепеток в окружении трёх рослых парней из Золотого конца. Со Стрепетком Шурка в прошлом году был на сенокосе в одной артели. Тот зорко глянул на Шурку, потом на Бедуара и вмиг всё понял.

– Коваль, привет, пиво пьём?
– Нет, – неуверенно ответил Шурка.

– Правильно делаешь, а мы вот жажнем по парочке кружек. А ты, Будуар? Пошалберничаем? Стервецы, – обратился он к своим приятелям, – занимаем очередь!

И пошёл к самому её началу, «стервецы» последовали за ним.

– Будуар, пиво у Пупчихи киснет, не тяни.

«Вот где талант пропадает, – подумалось Шурке, – его бы к нам в драмкружок к Валентине Яковлевне. Как он ласково пугает этих дуроломов!»

– Чивер! – властно, по-хозяйски, произнёс вожачок Будуар.

– Я, – откликнулся на всё готовый его подручный.

Будуар выдержал глубокомысленную паузу и изрёк:

– Ты этих ребят не трожь и своим скажи.

Он ещё раз осмотрел с ног до головы подростков и сказал с особым значением, чтобы слышали у пивнушки:

– Это – наша смена!

И отошёл, довольный собой. За ним игриво зашагал Чивер, припевая: «Он вошёл в ресторанчик, чекулдыкнул стаканчик и велел всех ребят напоить».

– Ничего себе оценили нас, – хихикнул неуверенно Мишка, когда они уже копали червей. – Кто мы теперь с тобой?

– Будуарчики! – ответил Шурка, не задумываясь.

Им почему-то вдруг стало весело. Мишка притворно упал на зелёную кочку и дурашливо завопил:

– Ой, держите меня, а то упаду. О кочкарник ушибусь!

Он умел шумно радоваться. Шурке это нравилось.

В клубе

С тех пор, как Шуркина мать устроилась уборщицей в клуб, а вернее, в РДК – районный Дом культуры, забот прибавилось. Помещение большое и хлопот с ним немало.

На его долю выпало помогать матери: поздно вечером, после сеансов, подметать полы в большом зале, перед тем, как она их будет мыть. В слякотную погоду грязи на полу под сиденьями неупроорот и её трудно выметать, так как все ряды кресел крепко прибиты.

Ещё досаднее Шурке выметать шелуху от семечек, которой иногда набирается немало. Особенно, если два сеанса в 19–00 и 21–00. Шурка не понимал, как можно во время кино грызть семечки? И не от того, что ему приходилось убирать шелуху или он считал это некультурным. Просто, когда сидел в зале, ни о чём не думал, кроме действия на экране. Для него неинтересного кино не существовало. Кино для Шурки – чудо, к которому он привыкнуть не мог.

Вчера вечером демонстрировали двухсерийный фильм. И теперь с утра у Шурки работы достаточно. В фойе, как обычно, было несколько человек: кто играл на баяне, кто листал подшивки журнала «Сельская жизнь», кто не знал, куда себя деть. Шурка помнил, что назначена репетиция духового оркестра, поэтому решил быстренько выполнить свои обязанности и послушать музыку. Он взял ведро с веником и вошёл в сумрачный зал.

Зрительный зал и сцена волновали его всегда. Здесь чувствовалось присутствие тайны. На полуосвещённой сцене стояло пианино. Живое, элегантное, божественное существо. Оно манило и пугало Шурку. В отличие от своих сверстников, он не мог запросто подойти к нему и пытаться извлекать звуки. Его охватывал трепет перед этим существом, представлявшим собой часть того таинственного и завораживающего мира, который зовётся музыкой.

Ему, как никому, представлялась возможность потрогать клавиши, ведь он иногда приходил совсем один, открывал клуб и подметал пол. Но Александр этого не делал. Это не было робостью. Не робел же он играть на сцене в постановках перед целым залом, вмещавшим три-

ста человек. Его публика выделяла. Он не терялся на сцене, что даже для него самого было удивительным. Заряжало присутствие народа, и что-то подталкивало делать так, как казалось необходимым. Когда он забывал текст (это было редко), с ходу вставлял свои слова и так же ловко помогал выпутываться партнёру, которого внезапная фраза выбивала из строя. Ковальский видел всю пьесу, всю её продумывал. Герой ему был понятен, поэтому Шурка часто догадывался, что тот мог бы ещё сказать, но не сказал.

Однажды после такой игры Валентина Яковлевна подошла к нему, прижала к груди, отчего Шурка чуть не задохнулся, и, театрально воздев руки вверх, сверкая своими красивыми цыганскими глазами, громынула:

– Посмотрите на него, это не просто Шурка Ковальский – это будущий великий артист! И поцеловала смачно в губы.

Всем известно, их худрук полумер не знала. У неё всё либо гениально, либо: «не то, не то, не то, дьяволы, черти такие». Но всё же Шурка и сам чувствовал, что в нём на сцене горит какой-то непонятный ему огонь. Он в это время соприкасался с чем-то большим и магическим. То ли это правда, которую надо донести до сидящих в зале? То ли истина, без которой все в округе, если её не поймут, окажутся обездоленными? Или это кусок чьей-то жизни, о которой обязательно следует поведать другим людям, иначе человек, в кого он перевоплощается, будет обделён – его не услышат, о нём не узнают. Зачем же тогда он жил?

Так часто думал Шурка. Ему было неясно, почему становился на сцене таким отчаянным, не похожим на себя в обычной жизни. И кто же он и какой на самом деле? И как другие люди сами к себе относятся?

То, что совсем недавно стало случаться по ночам и чему он много позже, уже студентом, узнал научное название: «поллюции» – обескураживало. Он не знал, как к этому относиться. Урод он или так у всех? Было как бы два Шурки: один неосознанно стремился к чистому и красивому, и другой – пугающийся и не знающий, что с ним творится.

Похожее с ним бывало и раньше. Вспомнив об этом, он теперь только улыбался: в первом классе Шурка испытал потрясение, увидев свою первую учительницу, красивую и справедливую Нину Николаевну, выходящей из обычного школьного туалета. Это его тогда убило. И он долго не мог этого принять.

...Шелухи от семечек в этот раз оказалось много. Шурка заполнил четверть ведра, а всего-то прошёлся по половине зала. Решив передохнуть, сел в кресло и грустно повёл глазами. Зал был большой. По бокам сцены висели огромные из красного материала плакаты с ленинскими изречениями. Слева было написано: «Самым важнейшим из всех искусств для нас является кино». Справа: «Искусство принадлежит народу – оно уходит своими глубочайшими корнями в самую толщу широких народных масс...». Шурка уже хотел встать, как вдруг на сцену легко выпорхнула Верочка Рогожинская. По-домашнему, запросто села к пианино. И не успел Шурка опомниться, как зазвучала мелодия, звуки которой сначала заполнили сцену, затем перескочили через оркестровую яму и полились на него одного, сидевшего в полуосвещённом зале. Конечно, Верочка не знала, что кто-то сидит там. Тем более не ожидала увидеть здесь его. А ему это как раз было не надо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.